

О том, как хулиганил в гимназии, пил автоконьяк во время Революции, «работал» в банде в Гражданскую и начал учиться в Университете

<https://oralhistory.ru/talks/orh-424-425>

🎙 12 декабря 1974

Собеседник

Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович

Ведущий

Радзишевская Марина Васильевна

Дата записи

Беседа записана 12 декабря 1974 и опубликована 19 мая 2016.

Введение

В третьей беседе Николай Владимирович возвращается к годам в родной Флёровской гимназии. Подробно рассказывает об учителях и о ученическом кружке «Сикамбр». Вторая половина беседы — Университет и годы после революции. Здесь чередуются разнообразные приключения военные и гражданские: «служба» в банде Гавриленко на Украине, работа грузчиком и начало подробного рассказа об университетских преподавателях — Николае Кольцове и Михаиле Мензбуре, а также о том, как учились в те тяжелые годы.

Марина Васильевна Радзишевская: Пожалуйста, Николай Владимирович.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский: Так вот, значит, в 14-м году, после смерти отца, инженера путей сообщения, как я раньше уже рассказывал, мы переехали в Москву, и я из 1-й Императорской Александровской гимназии в Киеве перешел в небезызвестную Флёровскую гимназию в Москве. Флёровская гимназия была в те времена во многих отношениях замечательна. Она была не номерной казенной гимназией, а так называемой частной, но по происхождению частной гимназией, основанной Александром Афиногеновичем Флёровым. Частные гимназии в России раньше разделялись на две более-менее крупные категории. Одна была с правами для учащихся, а другая — с правами для учащихся. С правами для учащихся, это, в сущности, были настоящие, обыкновенно недавно основанные, частные гимназии, реальные училища и другие школы, которые, значит, по программе и объему курсов, были приравнены к соответствующим казенным типам средних учебных заведений и в которых соответствующая программа, утвержденная министерством, проходила. Ученики, окончившие эту школу, получали дипломы, которые давали им все те же права, которые дают и дипломы казенных гимназий, реальных училищ и так далее.

Гимназии до революции

Но они не назывались училищами с правами для учащихся, потому что учащие, преподаватели, автоматически прав не имели, то есть им не шли чины, они состояли, так сказать, на частной службе в соответствующей частной гимназии. И поэтому, так как они ни под каким государственным контролем не состояли, то во время экзаменов в таких гимназиях и реальных училищах присутствовали представители учебного округа, так сказать, ну, что ли в виде контроля. А частные гимназии и реальные училища, то есть основанные частными лицами, но которые были уже хорошо известны, выпустили много выпускников, они назывались с правами для учащихся. Там часто, например, преподавателям, которые часть своего времени преподавали и в казенных гимназиях, в обычных, засчитывались часы и годы службы в таких частных гимназиях с правами для учащихся. И они имели все права учителей, и никто их не контролировал. Преподавание, экзамены, выдача дипломов — все происходило так же, как в номерных казенных гимназиях. Значит, правами и дипломами пользовались не только учащиеся, но и учащие были полноправными учителями.

Вот такой была и Флёровская. И была гимназией, по-моему, очень хорошей. Среди частных гимназий был целый ряд гимназий и реальных училищ в Москве, так сказать, передовых, считавшихся передовыми. Там были якобы какие-то особо талантливые преподаватели, и особо интересно и педагогично составленные программы, и всякая такая педагогическая передовая мура была, с моей точки зрения, очень вредная для учащихся, и всякие такие вещи. У нас ничего этого не было во Флёровской гимназии. Гимназия была типа казенных гимназий, в достаточной мере хулиганистая, никаких передовых методов к нам не применяли. На балы нас приглашала тоже такая частная женская гимназия с правами для учащихся — Травниковская, которая в Москве пользовалась репутацией, так сказать, не передовой. Передовые интеллигенты морщили носы и снимали и протирали пенсне чистыми носовыми платками, когда заходила речь о Травниковской гимназии. Но гимназисточки там были на ять, и наша гимназия, значит, на балы ходила в Травниковскую гимназию.

Учителя

Но у нас, во Флёровской гимназии, был необычайно высокий, даже для столичных гимназий, московских, петербургских, харьковских, одесских, процент талантливых учителей. Ну просто талантливых в каком-то смысле! Многие из них были талантливые люди, кроме всего прочего, некоторые были чудаки, другие были действительно довольно крупными специалистами. Например, географию у нас преподавал вообще директор гимназии Барков, а в старших классах такой Калитинский. Барков был тогда доцентом Московского университета, а потом стал профессором географии Московского университета, скончался в конце 30-х годов. Калитинский был доцентом Археологического института. В Москве был такой вуз до революции, он кончил свое существование, по-моему, в 18-м или в 19-м году. Там изучалась археология, антропология, всякие такие вещи, в том числе и антропогеография. Вот. И Калитинский был доцентом этого института. Более он был в Москве известен не как ученый, а как муж весьма замечательной артистки Художественного театра Германовой. Была такая очень крупная артистка и очень замечательная женщина. Очень интересная женщина, красивая и, что среди артистов бывает редко, умела сама готовить и печь три различных сорта, ну, среднего между печеньем и пирожными. Потом я, когда буду рассказывать про наши кружки, расскажу вам, что мы чаще всего заседали у нас дома и у Калитинского, у Германовой, потому что там очень уж здорово чаем угощали с этими пирожными. А это всегда приятно. У нас тоже ничего было, но германовских пирожных не было, а были покупные.

Так вот, у нас, в сущности, в каждом классе было по меньшей мере три-четыре очень хороших, талантливых учителя. Иные были интересны просто как специалисты в своей области, другие были интересны как прекрасные лекторы. Для старших классов это имело большое значение. В старших классах учитель должен уметь увлекать своими лекциями и рассказами, а не применять какую-то идиотскую педагогику, которая никому не нужна вообще. А третьи были просто очень симпатичные и интересные люди, которые на нас действовали просто по человечеству, советами всякими, поддерживали и помогали нам в различных увлечениях кружковых и так далее. Так что гимназия была по тем временам хорошая.

Класс наш был в должной мере хулиганистый и отличался очень интересной особенностью: в нашем классе самое, так сказать, хулиганье, человек пять-шесть, в то же самое время были лучшими учениками, которые в конце все кончили с золотыми и серебряными медалями.



Этим, во-первых, объяснялся высокий уровень нашего хулиганства и, во-вторых, большие трудности для начальства с нами бороться. Ну, нахулиганили, но в то же время, как говорится, цвет класса (*усмехается*). Что ж поделаешь! Нельзя всех будущих медалистов выгнать из класса. Неловко вроде. Так вот нас терпели поэтому. И хорошо делали, что терпели. И мы терпели начальство. Начальство у нас, в общем, тоже было очень хорошее. Вот Александр Сергеевич Барков был прекрасный директор. И когда что-нибудь действительно серьезное случалось, он умел формально закрыть глаза, не заметить и пропустить. А потом частным образом нас вздрючить. Потому что бывали ведь, особенно в кассовские времена, вещи такие, за которые можно было вылететь с волчьим билетом.

Например, на одном из совместных балов нашей гимназии с женской гимназией Травниковой мы умудрились после официальной части, когда начались танцы и прочее, директрису гимназии с тремя классными наставницами запереть в уборной и спрятать ключ (*усмехается*). Вот. Как будто бы дело довольно серьезное. Александр Сергеевич Барков, будучи в те времена уже действительным статским советником, изволил не поверить, что «мои мальчики могли такое отмочить». И правильно сделал, потому что, ежели дать этому ход, что же это, на всю Москву скандал: директрису женской гимназии в клозете, извиняюсь, заперли.



Гимназисты на станции Листвяны. Слева — Н. Тимофеев-Ресовский. 12 мая 1917

Затем один здорово проигрался, но не из нашей, правда, компании, довольно такой неприятный Семенов, Семен Семенов, проигрался на бегах очень крупно. Его, действительно, тихонько выставили. Вызвал директор родителя и посоветовал его перевести в частную гимназию с правами лишь для учащихся, а не для учащихся. Там, значит, платить в два раза дороже нужно было, но там на такие мелочи, как игра на бегах или еще похуже что, внимания не обращалось. Это покрывалось платой за учение.

Но вообще мы хулиганили обыкновенно остроумно и, в общем, безвредно. В средних классах, например, такие штуки у нас были. Я пробовал обучать теперешних школьников, но ведь теперешние школьники, поскольку они не подвергаются никакой дисциплине, могут хоть на головах ходить, хоть без штанов разгуливать по коридорам и вытворять со своими учительницами-шкрабшами¹, вроде вас, все, что угодно, а вы с ними ничего не можете вытворить, то как-то и хулиганить-то им не интересно. Они вот больше обрезают эти самые телефонные микрофоны у автоматов телефонных. Вот такой мурой занимаются.

¹ Так в быту сокращали принятое в советских учреждениях название должности «школьный работник».

А мы, например, так. У нас один год была очень симпатичная по человечеству, совершенно русская, но блестяще знавшая французский язык, преподавательница французского языка. У нас в мужских гимназиях преподавательниц обыкновенно не было. Вот единственно бывали француженки. Ну вот, один год и у нас француженка была, Ольга Владимировна такая, удивительно симпатичная дама и такая очень дама. А она временами любила устраивать целый урок (у нее было два урока в неделю, один раз час, а другой раз два часа), вот двухчасовой урок она время от времени посвящала сплошному спросу. А сплошной спрос, как известно, неприятная вещь, в общем-то, конечно. Пусть лучше треплется учительница, чем спрашивает. Потому что ежели она спрашивает, мы мычим. А она может трепаться свободно. Вот. Тогда мы такую штуку произвели. Какой-то особенно предстоял неприятный спрос. Перед тем мы послали Льва Харлашку, Харламов такой, не тот

хоккеист, который сейчас в хоккей играет, а другой. Так вот, Лев Харлашка был послан в булочную Чуева, в определенную булочную Чуева в одном из арбатских переулков. Раньше не так, как теперь. Сейчас в булочных и вкусного хлеба нету, а главное, тараканов нету и прусаков нету почти. Тараканы вообще у нас вымерли. Университеты и мединституты для малых зоологических практикумов кое-где по полтиннику за штуку платят.



Друзья на охоте. Н. Тимофеев-Ресовский и А. Реформатский. Покровское, 1917

М.Р.: Приезжайте в новые дома и берите бесплатно.

Н.Т-Р.: Простите, прусаки... вы в качестве гуманитария не знаете, это рыжие тараканы такие, маленькие, а большие черные тараканы вымерли. А в больших домах больше всего клопов, конечно, потом прусаков. И главное, их не выведешь. Я это знаю. Огромный квартал всеми этими коммуникациями связан, там отоплениями и прочим, и это сплошной «ленинский проспект» для клопов и прусаков. Это надо всех выселить, и весь квартал наполнить, скажем, газами формалина. Тогда можно все это вывести. А в отдельных квартирах бороться с этим безнадежно. У меня есть такие приятели в Москве, которые страдают очень от насекомых. У нас, в Обнинске тоже иногда звонок, заглядывает приятная такая, довольно молодая дамочка: «Вас насекомые и грызуны не беспокоят?» Я говорю: «Нет, простите, не беспокоят».

Так вот. И за пятак в такой бумажный фунтик мальчонка в булочной набирает прусаков (лучше прусаков, а не тараканов: они мельче). Они приносились, и перед уроком на кафедру ставился стул. Кафедра сама довольно высокая, потому что постамент такой, затем кафедра, затем стул ставился на кафедру, и самый долговязый влезал на стул и из пакетика брал, значит, за ножки осторожно прусаков, плевал (*имитирует плевок*) им на спинку и приклеивал к потолку над кафедрой. И так обклеивал потолок. Потолки высокие, француженка-то... чего ей на потолок глядеть, на потолок ей глядеть нечего. Она приходила, садилась за кафедру. А слюни, так же как и всякое жидкое и полужидкое тело, имеют привычку подсыхать. Значит, на спинке у таракашки слюнки подсохнут, он и падает на француженку. И так помаленьку начинается тараканий дождь над кафедрой (*смеется*). Она не понимает. Видит — тараканы начинают бегать вокруг нее. Один, я помню, заполз ей за шею, прямо как у Козьмы Пруtkова: «Однажды попадье заполз червяк за шею»².

² Начальные строки басни Козьмы Пруtkова «Червяк и попадья».

Ну вот, она, значит, разохалась, разохалась... на потолок все еще не смотрела, а решила, что в гимназии какая-то инвазия тараканов началась. Ну, значит, разохалась, разохалась. Мы, конечно, тоже все вскочили, разохались, разохались, начали ловить этих прусаков. Одним словом, произошло большое оживление и веселье. Она побежала к кому-то там, к швейцару или помощнику швейцара, к кому-то из так называемых работяг жаловаться, что откуда, мол, эти тараканы завелись. Тот прибежал. Но тот-то не дурак, посмотрел на потолок: а там еще остатние, не подсохшие еще на потолке были. Он тогда ей показывает: «А вот, видите, откуда они». Ну, тут и ей стало все ясно. Но так как она была дама... во-первых, настоящая дама, а во-вторых, не сволочь и не стерва. Среди теперешних учительш (я думаю, по нужде, потому что они несчастные какие-то, загнанные, затравленные) много есть так называемых профстеров. Это, вы знаете, сейчас среди бабелей есть особая такая порода, в каждом учреждении есть несколько так называемых профстеров, такие стервозные бабы, вообще-то говоря. Раньше попадались стервозные бабы, но они-то дома стервозили, как-то не было такой... А на работе работали-то ведь раньше обыкновенно молоденькие, хорошенькие, приятные дамочки и девочки, так что таких профстеров не было. Да и проф-то не было, профторгов и всяких таких официальных паразитов-то не было. Так что вот, такую штуку проделывали.

Потом у нас был замечательный физик, Борис Федорович Розанов. Он был доцентом Петровской сельскохозяйственной академии, ныне Тимирязевка, и у нас преподавал физику. Был он немножко бородат, такой подстриженный, но обыкновенно неаккуратно подстриженный, то есть не с большой бородой, а с небольшой бородой, но не аккуратной. Лысина у него была, тут, значит, волосьев много, а тут не хватало. Всегда немножко такой удивленный вид. Он очень хороший был человек, просто замечательный человек, прекрасный физик, но он, обыкновенно, плохо соображал, где он находится. Это во-первых, и иногда впадал в такое физическое увлечение, что нам, упершись в доску с формулами, рассказывал что-то такое, наверное, очень интересное по физике, чего мы не понимали.



А во-вторых, страшно любил показывать опыты. Мы их называли фокусами и даже всегда просили: «Борис Федорович, вы нам сегодня фокусы покажете?» Он смеялся, говорил: «Покажу, покажу, покажу».

И во-первых... мы думали даже, что с ним... (тогда этого не было: инфарктов и прочего, тогда кондрашка называлось всё это), что его кондрашка хватит. Это вот такая штука. У нас было несколько комиков. Главные комики были: Игорь Ильинский, который потом профессионалом стал по этой части, но он был так на третьем месте, а на первом, втором месте были Вольф такой и Гарлей. Эти были действительно прирожденные комики, разного стиля. У Гарлея морда кирпича просит, такая морда именно, а не личность, какой-то квадратный такой череп, волосья — называлось это бобриком. Когда к нему начальство приставало: «Когда ты пострижешься?», он говорил: «У меня бобрик». А это не бобрик, а черт знает что на голове было (*усмехается*). И такая наглая физиономия, как будто... и вид такого, ну, средних лет пропойного пьяницы. Уже в гимназии у него такой был вид. А Вольф наоборот (ему начальство иной раз делало замечание и раз даже приказало больше не приходить): очень шикарная форма у него была. Папаша у него был акционер этого издательства «Вольф», люди богатые были, и очень шикарно он одевался. У него всегда был под воротником такой еще белый для того, чтобы шея не терлась об воротник куртки, белая такая... не воротничок, а специальная подкладка такая. И он умел быть изысканно изыщен и вежлив.

Борис Федорович полысел

И вот Борис Федорович Розанов. Я до сих пор помню один случай, когда его чуть кондрашка нехватила. Так, походя, в связи с какой-то там физикой общепонятной и общедоступной он показывал общеизвестный, элементарный опыт сообщающихся сосудов. Для этого берут изогнутую трубку, наливают в нее подкрашенную воду либо красную, либо синюю и потом показывают, что в обоих коленах этой трубки на одном уровне вода стоит. Так? Это и вам, гуманитариям, известно более или менее. Так?

М.Р.: Так.

Н.Т.Р. (*усмехается*): Почему это так, вам, конечно, неизвестно, но что это так, вы в этом убеждены. Ну, и мы, конечно, все были убеждены. Борис Федорович показывает, значит, закон сообщающихся сосудов, морда у него сияет, улыбается: он страшно любил любые, хоть совершенно элементарные опыты показывать. Показал. И тогда Вольф аккуратно подымает ручку: «Разрешите, Борис Федорович?» А Борис Федорович страшно любил, когда мы, мальчики, задаем вопросы. Это ведь многие учителя любят, потому что думают, по глупости и серости, что это от интереса и понимания, а это от хулиганства, вообще-то говоря. Так вот он поднял ручку: «Можно вопрос в связи с очень интересным фо... простите, опытом, который вы только что нам показали». И потом таким... он умел запускать... это уже в старших классах было... этакий баритон интеллигентный, вдумчивый, задушевный баритон такой... задушевым вдумчивым баритоном сперва небольшое такое введенее: «Знаете, Борис Федорович, я всегда восхищаюсь точными вашими науками, до чего это все замечательно, особенно физика. Ну, химия все-таки не то, а вот физика — это замечательно. Меня очень увлек ваш интересный эксперимент, который вы нам показали. Но у меня вопрос». Борис Федорович сияет. Вопрос! «Скажите, Борис Федорович, ежели воду вместо синего окрасить в красный, тоже получится?»



В домашнем спектакле по пьесе Н.В. Гоголя *Женитьба*. Второй справа — Николай Тимофеев-Ресовский (Почкарев). 1915

Тут Борис Федорович вдруг обмяк, и мы думали, что с ним кондрашка случится. Я-то вам рассказывал, думал, что вы, сукины дети, понимаете, а оказывается, вы ни черта не понимаете. Большое было для него разочарование. Но потом он вскоре утих, очень был отходчив. И как раз урок был... я этот урок прямо помню, он перед глазами у меня стоит. Это было перед большой переменной или нет, последний урок, мы должны были уходить. И после уроков, значит, звонок прозвенел, мы все встали, Борис Федорович тут еще что-то кому-то объяснял, и мы пропели ему при выходе любимую его песенку:

Борис Федорович полысел, полысел, полысел,

Борис Федорович полысел, полысел, да!

Он совсем уж примирился с нами, включая Вольфа, и больше не удивлялся.

А другой случай, когда опять он, по наивности и такой хорошестьи своей, просто испугался, и тоже его чуть кондрашка нехватила, был такой. У нас был замечательный физический кабинет, просторный, впереди большой стол, за которым разгуливал преподаватель, черная доска, которая ездила вверх и вниз, одним словом, не хуже, чем в теперешнем МГУ. И такие столики на двух человек, не парта, а именно столики, внизу, как у парт они были скреплены соответствующей скамейкой на двоих. На этих столиках можно было опыты проделывать с приборчиками, всякие такие штуки. Так вот. А Борис Федорович был глуховат и, как я уже говорил, страшно увлекался. И вот иногда он, значит, упрется в доску и говорит, бубнит, бубнит, бубнит и, конечно, ничего уже тут не слышит. А потом кончает бубнить и, сияющий, поворачивается к классу, очень довольный собой, и классом, и всем. Так вот мы отрепетировали такую штуку. Это трудно было, но мы репетировали долго и достигли совершенства почти балетного.

” Почти так, как балерин дрессируют на все элементы балетного танца, так мы выдрессировали себя вот на что: по команде, команде безмолвной, впереди сидящий, на передней парте, подымал руку, все мы брали, каждый, под стол руками и приподымались — и вот так-так-так — поворачивались на сто восемьдесят градусов. Причем до того отрепетировали, что это все происходило абсолютно бесшумно, да и Борис Федорович глуховат без того.

И вот однажды, когда он увлекся у доски, мы таким образом перевернулись. А он, значит, свое отбубнив, повернулся к классу и... мы думали, что с ним кондрашка опять случится. Он ничего не мог понять. Начал он перед классом, а кончил в зад у класса. Потом вдруг сообразил и страшно был сам доволен. Хохотал, говорил: «Как это вы?!» Ну, тут мы ему говорим: «Борис Федорович, это вам не физика. Мы две недели тренировались (*смеется*). Каждый день начинали с того, приходили на четверть часа раньше в гимназию и четверть часа, значит, упражнялись в поворотах на сто восемьдесят градусов». Вот такие штуки, это штуки приятные, хулиганство не вредное и с выдумкой. Много таких вещей у нас бывало.

И вот, в конце концов, кончили мы гимназию. Наряду со всякими хулиганствами, запирациями директрис женской гимназии в уборной и прочими фокусами, мы однако с переменным успехом занимались. Из преподавателей были у нас самыми

замечательными следующие. Во-первых, математик Николай Тимофеевич Зерченинов. Мы его звали либо Николаем Теоремычем, либо Николаем Мордофеичем. Очень хороший человек, но очень такой, я бы сказал... он быстр был на все: и на соображение, на ответ на вопрос, быстро двигался, быстро ходил, довольно быстро говорил, прекрасно преподавал математику. У нас примерно половина класса была антиматематически настроена, но и эта половина, антиматематическая, все-таки знала более или менее математику. Он нам очень много помогал во всяких общественных делах: в устройстве и организации кружков, затем, когда мы влопывались с хулиганством каким-нибудь и нужно было вступать в умные и осторожные сношения с начальством. Потому что начальство... директор, да и инспектор, такой Радзивинчук Федор Антонович, были люди очень хорошие, но все-таки они начальство были, чиновники, и не могли спускать нам все, что угодно. Так вот Николай Мордофеич или Николай Теоремыч нам помогал в этих делах.



Он как-то умел с начальством вдумчиво говорить на педагогическом уровне. Все это как-то так оборачивалось, что получалось в конце концов, что «ну что ж, ну, схулиганили, не беда, сойдет». Вот к этому он вел. Это был очень замечательный учитель.

По системе Берлица

Затем (он только умер, к сожалению, за полтора года до моего окончания гимназии) Константин Иванович Горбачевский, латинист, преподаватель латинского языка. Ведь считалось, особенно передовой интеллигенцией, чтоб ее черт побрал, которая ничего ни в чем не смыслила обыкновенно, что это какие-то ретроградные люди, что предмет совершенно ненужный никому. А я считал, что латынь, пожалуй, основной нужный предмет в средней школе. Во-первых, мы сейчас видим: у современной молодежи, кончающей среднюю школу, невероятные, в сущности, непреодолимые трудности с иностранными языками. Они долбят там слова и число знаков либо английских, либо немецких по двенадцать лет подряд и ничего не выдалбливают, все равно ни бэ, ни мэ, ни кукареку, ни в зуб ногой. Это, во-первых, связано с тем, что преподавание иностранных языков в средней школе у нас поставлено — хуже трудно придумать. Все эти учительницы иностранных языков этими своими иностранными языками не владеют, а владеют только какими-то педагогическими приемами. А мальчишкам и девчонкам надо язык выучить, а не педагогические приемы, черт побери.

А нас безо всякой педагогики учили по системе Берлица: «that's the table, that's the chair, that's the ceiling». И, в конце концов, так как преподавателям языков запрещалось в классе по-русски разговаривать, то, в общем, все кончилось благополучно. А во-вторых, сейчас нет латыни. Это ведь ужасная вещь. Ведь на латыни основана вся наша... все эти наши-то русские иностранного происхождения слова, которые русские люди современные не понимают, откуда это взялось, поэтому перевирают с невероятной легкостью. Затем, большинство научной и технической терминологии основано на латинских и греческих корнях, преимущественно латинских. И ежели греческие участвуют, то в латинизированном виде. И наконец, для всех европейских языков — грамматика. Латинская грамматика — основа всех европейских языков, кроме русского и английского. Потому что ведь европейские языки в средние века... с ними такое приключение случилось.

Кроме русского языка, для которого преподобными Кириллом и Мефодием была изобретена своя азбука, но компилятивно, скомпилировали из греческой, из латинской, арабской, еврейской и всяких других свою азбуку славянскую для тогдашнего литературного славянского языка. И свою грамматику тоже скомпилировали из разных грамматик, свою грамматику приспособили к этому литературному славянскому языку. Вот алфавит, грамматика и язык литературный в течение тысячи с лишним лет совместно эволюционировали и привели, в конце концов, к великому, могучему, свободному и так далее русскому языку, который сейчас коверкают на все возможные лады. К романским языкам латинская грамматика, которую им сверху, так сказать, придали, более или менее подошла, особенно к итальянскому и французскому языку. Французский язык поэтому, литературный французский современный язык, пожалуй, из европейских языков наиболее прецизионный, элегантный и совершенный по структуре. Всякие, значит, *Plusquamperfektum*'ы и *Futurum zwei* там не зря.

А вот в германских языках получилась неприятность. Немецкий литературный язык подчинился латинской грамматике, и получились все эти «цу на концу», понимай все наоборот, а что наоборот понимать — уже забыто. Затем ненужные в немецком языке *Plusquamperfekt*'ы и *Futurum zwei*, и всякие такие штуки. И это повело к тому, что сейчас любопытно: высококультурные, интеллигентные немцы часто плохо владеют грамматикой своего собственного языка. А разговорный язык всегда отъезжает от литературного. Ежели человек разговаривает на языке Шиллера и Гёте, то сразу значит, что это иностранец, по возможности русский. Потому что на языке Шиллера и Гёте никто не разговаривает.



Студия «Сикамбр». Инсценировка рассказа Н. Лескова «Грабеж». В центре Н. Тимофеев-Ресовский в роли черного дьякона. 1918

Другая крайность — это английский язык, который при этой оказии вообще от всякой грамматики отделался. Говорят, особенно у нас утверждают... есть же английские школы, там очень плохо и безнадежно пробуют детишек обучать английскому языку. Ничему они не выучиваются, конечно, по вышеизложенным причинам. Но я вот довольно в совершенстве владел английским языком, сейчас немного подзабыл, но никогда... не помню, чтоб я изучал или, вообще, даже слышал о какой-то английской грамматике. Мне какие-то друзья говорили, что она отличается тем, что состоит преимущественно из исключений. И у меня было много друзей англичан и американцев, которые тоже утверждали, что они, в общем, об английской грамматике никогда путем не слышали, и она без надобности. Английский язык вообще движется навстречу китайскому, потому что благодаря абсолютному несоответствию языку латинского алфавита и вместе с тем сохранению традиций написания слов романо-германских (как известно, пишется Ливерпуль, а произносится Манчестер), в общем, написание превращается в символику какую-то: вот такие-то значки значат through — через (*перечисляет все английские буквы, входящие в слово*). Много букв, а, собственно, два с половиной звука.

Так вот, у нас, к счастью, был замечательный латинист Константин Иванович Горбачевский. Он был вообще интересный очень человек, удивительно милый, хороший человек, он за пределами класса всегда нас опекал всячески. Бывали случаи, что мы что-нибудь, действительно, отмачивали не вполне, так сказать, добропорядочное, он тогда нас мягко приводил к одному знаменателю, и вообще мы чуть ли ему в жилетку не плакали уже полувзрослыми мужиками. Замечательный был человек. Но в классе, когда он входил в класс, он вытягивался...

” У него один глаз был свой, а другой стеклянный, кроме всего прочего. Острый нос, тощий, бритый, в общем, безобразный по виду. И он вытягивался, подымал руку и по-римски говорил: «Salvete, discipuli mei!» На что мы, подымаясь, хором отвечали: «Salve, domine magister!» И на уроках в основном с нами по-латыни разговаривал.

И преподавал нам не только латинскую грамматику и всякие там cum temporale, но древнеримскую историю, очень замечательную. Результатом вышло то, что никогда в жизни я не был никаким филологом, латынь мне, окромя зоолого-ботанической систематики, была не нужна, но я до сих пор... вот, погодите, вспомню? Да, пожалуй, вспомню.

Я до сих пор... а я, вообще, ни на одном языке не любил учить стихов, не учил никогда. Но:

Exegi monumentum aere perennius

regalique situ pyramidum altius,

quod non imber edax, non aquilo impotens

possit diruere aut innumerabilis
annorum series et fuga temporum.
non omnis moriar multaque pars mei
vitabit Libitinam; usque ego postera
crescam laude recens, dum Capitolium
scandet cum tacita virgine pontifex...

до сих пор помню.

И, конечно: «Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. <...> Hi omnes <...> fortissimi sunt Belgae», что во время войны первой бельгийцам страшно нравилось, что они самые храбрые. Вот как нас учили. И он был замечательный человек. Он в нескольких гимназиях преподавал латынь, и когда он умер, я помню, зимой 15-го года, его хоронили все гимназии. Кажется, четыре гимназии и еще даже больше, потому что из каких-то гимназий, в которых он давно уже не преподавал, тоже на похороны пришли in corpore, так что были прямо тысячи народу, не в переносном, а в буквальном смысле слова. Тысячи гимназистов были, и гимназисток было много, и затем всяких преподавателей, директоров, и представителей округа, и представителей Московского университета, где он когда-то чем-то тоже был, приват-доцентом или что-то в этом роде. Одним словом, замечательный был человек. Вот.

Литература

Третий замечательный преподаватель был Владимир Михайлович Фишер, преподаватель русского языка и литературы. Он просто очень интересный, талантливый человек был. Он нам с самого начала (в шестом классе что ли) сказал, что я вам не буду преподавать, как это положено, а я приват-доцент в университете, читаю, что хочу. Так я и вам буду читать, что хочу. А у меня есть вот учебничек, кроме того есть потолще учебник Саводника³ для гимназий. *(Обращаясь к Радзишевской)* вы слышали про такой учебник: Саводник «Русская литература»? *(В ответ отрицательное покачивание головой)*. И Сиповского⁴ несколько томиков хрестоматий по русской литературе и словесности. Так вот и пользуйтесь. Вы ребята достаточно взрослые, грамотные. А я вам буду интересное читать.

³ Саводник В.Ф. Краткий курс истории русской словесности с древнейших времен до конца XVIII века. М., 1914; Очерки по истории русской литературы XIX века. М., 1914.

⁴ Сиповский В.В. Историческая хрестоматия по истории русской словесности. Пг., 1915.

Так он и делал. Мы что нужно учили, а сверх этого он нам читал интересное. И раз в месяц, значит, опрос устраивал для того, чтоб проконтролировать, читали мы Саводника и Сиповского или нет, или хотя бы Фишера, его самого. Вот. Он немножко гнусил как-то так, но совершенно замечательно декламировал, особенно такую классическую русскую поэзию, начиная с Ломоносова:

Лице свое скрывает день,

Поля покрыла холода ночь...

И Державина. Он обратил в свое время наше внимание, и я в этом убедился совершенно, прочтя очень много всяких стихотворений на всяких языках, что в мировой поэзии лучшее произведение — это последние коротенькие стихи Державина:

Река времен в своем стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остается

Для звуков лиры и трубы, —

То вечности жерлом пожрется

И общей не уйдет судьбы.

Это, конечно, лучшее произведение всей мировой поэзии по краткости, ясности и всем прочим качествам. Ничего лучше никто не написал. Владимир Михайлович Фишер всем нам, включая уже в то время безнадежных математиков, физиков и естественников, привил любовь к настоящей хорошей литературе. Это редко бывает. Школа, если поглядеть сейчас, современная школа, ведь она у молодежи отбивает всякий вкус к какой бы то ни было литературе. Да и раньше, то, что проходило в обязательном порядке в гимназиях, обыкновенно, за всю жизнь не перечитывалось *(усмехается)*. Хватало. И он, действительно, привил любовь к перечитыванию таких, например, поэтов и писателей, как знаменитые русские классики *(говорит с еврейским акцентом)* Пушкинзон, Лермонтович и Гогельман *(смеется)*. Ведь Пушкина же большинство людей после школы никогда не перечитывали, никогда не заглядывали. <нрзб.> не филологов и не литературоведов, понимаете ли, а обыкновенных инженеров с портфелями, клистирную команду, врачешек и прочих, понимаете.



А. Реформатский и Н. Тимофеев-Ресовский в день окончания гимназии. 12 апреля 1918

А мы все были Владимиром Михайловичем приучены к хорошей русской литературе и, конечно, он нам давал очень хороший обзор всей мировой литературы. В отличие от истории по литературе у нас не было двух разных предметов: русской литературы и иностранной литературы. Иностранная литература давалась попутно с русской, так сказать в контексте с русской и синхронно с русской. Он сам был очень хорошим переводчиком, им были напечатаны переводы Байрона, я не знаю, революцию пережили и продавались его переводы «Чайльд-Гарольда», например? Владимира Михайловича Фишера. Вообще талантливейший был человек.

И он не обладал ни стремлением к поддержанию дисциплины, ни строгостью, никакими педагогическими качествами — ничем. Но никому, даже самым безнадежным хулиганам и дуракам в классе в голову не могло прийти во время урока Владимира Михайловича Фишера что-нибудь выкинуть, или слово какое-нибудь сказать, или звук какой-нибудь издать, двигаться зря. Все сидели, слушали и восхищались. Из чего следует, что всякая педагогика — гнусь и муть. Никому она ни на что не нужна, это паразитарная дисциплина совершенно. А для того, чтобы ученики учились у преподавателя, преподаватель должен быть не глупым и не лишенным кое-каких талантов человек, и больше ничего. И знать свой предмет. И любить свой предмет. А вся эта педагогика — муть. Вот. Это был третий замечательный у нас преподаватель.

География и прочее

Затем был, конечно, хорош очень наш директор Александр Сергеевич Барков. Он преподавал географию, он географ. Я уже упоминал, что потом, уже после революции... до революции он был доцентом, а потом стал профессором Московского университета. И долгое время после революции, я слышал, в школах переиздавался (называлось «четыре разбойника») учебник географии Крубер, Григорьев, Барков и Чефранов. Вот эта самая четверка выпустила учебники и «География России», и «География Европы», и «География внеевропейских стран». Одним словом, вся гимназическая география была представлена учебниками «четырех разбойников».

Он был очень хороший человек. Ну, у него вели себя всегда все примерно, потому что он директор был, высшее начальство, Их Превосходительство. Между прочим, вы знаете, например, такие детали или вам они неизвестны, что к директору гимназии и реального училища, даже если он по чину был ниже, официально к нему обращались Ваше Превосходительство, по должности? Но иногда они были коллежскими советниками и статскими советниками, а не действительными. Так сказать по чину титулование Ваше Превосходительство начиналось с действительного статского советника: действительный статский и тайный советник. А действительные тайные советники были Высокопревосходительствами. Но ежели даже не достигли действительного тайного советника или полного генерала или адмирала, то генералы-губернаторы и командующие военными округами титуловались по должности как Высокопревосходительства. Губернаторы даже, ежели бывали часто губернаторы статские советники, а не действительные статские, и все-таки титуловались Ваше Превосходительство, по должности. Вот.

Так вот, это я уже, по-моему, был в гимназии, когда Александр Сергеевич Барков был произведен в действительные статские,

а до того был статским, но все равно Превосходительством, и у него сидели смиренно. Преподавал он хорошо географию, учились у него все тоже хорошо, но это по причине Превосходительства, конечно, в основном. Но он заболел о том, чтобы у нас поддерживались кружки. Он всегда говорил, что кружки официально не того... я не обязан официально знать, но устраивайте кружки. И, в частности, он принимал участие вне стен гимназии в нашем географическом кружке. Это первый наш кружок был, с чего начался... который потом перерос в «Сикамбр». Вот.

И, наконец, упомяну еще Калитинского, которого в другой связи вам упоминал уже. Александр Петрович Калитинский был доцентом Археологического института по специальности географ и антрополог. Он немножко занимался физической антропологией, происхождением человека, всякими неандертальцами и прочими якобы уже членораздельными скотами, а не членораздельными скотами или другими скотами. И археологом был немножко. Он преподавал у нас в старших классах это и относился к преподаванию юмористически, что очень хорошо.

Надо сказать, что все эти преподаватели, о которых я вам говорю, все они были замечательны в первую очередь тем, что в них не было звериной серьезности.



Они не страдали тем, что немцы называют «der tierische Ernst» — звериной серьезностью. Это ужасное свойство многих людей — страдать звериной серьезностью.

Так вот, они не страдали, и Калитинский в особенности. Он вообще нас предупредил, придя к нам в класс преподавать географию... Это уже были основы экономической географии земного шара, и основы экономической географии России, и основы климатологии. Вот что он нам преподавал. И он нас предупредил, что по программе вам положено то-то, могу вам порекомендовать такие-то учебники, такие-то книжки для чтения. Точно так же, как Владимир Михайлович, только другого типа совершенно был человек... а я вам буду интересные вещи рассказывать из того, что вам по программе не положено. Главным образом, основы физической антропологии, происхождение человека и кое-что из области климатологии новенькое: вот Воейкова, тогда начал климатологией заниматься всерьез Лев Семенович Берг, комплексной географией, значит комплексным изучением земной поверхности. И читал нам блестящие лекции. Иногда проверял, нет ли кого за дверью в коридоре и тогда рассказывал похабный анекдот какой-нибудь. Это тоже с ним бывало. Вы выдерживаете похабные анекдоты или нет?

М.Р.: Не очень.

Н.Т-Р.: Не очень. Вы не знаете семинарский анекдот про Гёте? И немецкий язык?

М.Р.: Немецкий немного знаю, а анекдота не знаю.

Н.Т-Р.: Вот это нам в гимназии преподавал Калитинский, преподаватель географии.

М.Р.: Расскажите.

Н.Т-Р.: Так вот, в семинариях, которые были тоже средним учебным заведением, полагались, значит, латинский и греческий язык обязательно и затем один живой язык: французский или немецкий. Не два, как в гимназиях было обязательно, а один. Обычно бывал немецкий язык, потому что немецких преподавателей у нас, прибалтийцев, было до черта, а французов... французенку не пустишь в семинарию: там великовозрастные семинаристы по двадцать-двадцать один год в старших классах. Они из французенки, так сказать, мякинку сделают, а французов-то, их импортировать надо было из la belle France. Обыкновенно попадали учителями французского языка какие-нибудь отставные капитаны пехотные. Так вот немецкий язык. Немецкий язык полагался и на выпускном экзамене. А вы немецкий язык знаете малость?

М.Р.: Малость, да.

Н.Т-Р.: Ну, знаете, что «о» есть и «ö» umlaut?

М.Р.: Конечно.

Н.Т-Р.: «U» и «ü», но umlaut — это новенькая вещь, а раньше вместо umlaut 'а «о» было «ое», «ие» было «ü» и так далее. Да, а на экзамене присутствовал архиерей обыкновенный или викарный епископ в более маленьком городе. И вот вызывают некоего великовозрастного такого семинариста, по немецкому языку ему дают прочесть «Ethische und poetische Übungen von Goethe». Ну, он и начинает (*произносит медленно по складам*): «е, ети, етише, унд, пое, поети, поетише, у, уе, уебу, уебунген, фон, го, гое, гоете...» Ну, тут архиерей его прерывает и говорит: «Читаешь ты, голубчик, бегла, но произношение у тебя больно матерное» (*смеется*). Вот это нам, еще когда... в 16-м году рассказал преподаватель географии Александр Петрович Калитинский, доцент Археологического института. Мне он только напомнил, я до него этот знал, семинарский-то, анекдот.

«Сикамбр»

Теперь что же вам про гимназическое время еще рассказать? В основном, я бы сказал такую вещь. Принято в воспоминаниях русских интеллигентов вспоминать всегда гимназию со всякими ругательствами и так далее. Вот я прошлый раз рассказывал Виктору Дмитриевичу про киевскую Императорскую Александровскую гимназию, которая была совершенно другая по сравнению с Флёровской, да и времена были знаменитого министра Кассо, <нрзб.> казенные гимназии, и все-таки упоминаешь ее с удовольствием, потому что и там хорошие преподаватели попадались, например латинист Поспешил, чех, у него были даже какие-то учебники латинского языка. Затем (я, к сожалению, забыл уж его фамилию) преподаватель тоже русского языка и словесности хороший очень был, большой любитель «Слова о полку Игореве» и «Поучений Владимира

Мономах». Да и дух был такой хороший. Директором гимназии был в мое время Стороженко такой, действительный статский советник и настоящее Превосходительство. Так же как Александр Сергеевич Барков в то строгое, формальное, чиновничье время Кассо он умел нас, гимназистов, научить хулиганить умно, не попадаться, а ежели когда-нибудь кто-нибудь из нас попадался в чрезмерном хулиганстве, он умел это не заметить. Ежели ему какой-нибудь дурак из коридорных наставников, каких-нибудь глупых недоученных хохлов в чине коллежского регистратора или губернского секретаря, самого низшего такого (чин им давался только для того, чтоб их по морде не били), докладывал, он говорил: «Ты видел?».

” Тот сдуру говорил: «Не видел». — «Слышал?» — «Нет, Ваше Превосходительство, не слышал». — «Тогда не ври зря!» И не знал об этом. Нет, хорошие были у нас гимназии.

Я немножко знал и глубоко провинциальные гимназии. Вот в Калуцкой губернии прогимназия была в Массальске, в любимом моем городке. Тоже великолепная прогимназия была, замечательная. Врут эти вспоминающие, либералы интеллигентные.

М.Р.: Сейчас уже очень много вспоминающих, которые так же, как и вы говорят о гимназиях.

Н.Т.-Р.: Потому что перестали бояться, значит, так называемой действительно страшной в России общественной цензуры. Ежели что-нибудь не либеральное брякнешь — заедят ведь. Царская цензура была детская музыка по сравнению с цензурой всяких Максимов Горьких и прочей шушеры. Вот.

М.Р.: Может, вы отдохнуть хотите?

Н.Т.-Р.: Выключите.

(Магнитофон выключен и включен вновь.)

Н. Т.-Р.: Так вот. В гимназии же еще началось у меня и у моих ближайших друзей, как гимназических, так и внегимназических (мы были молодежью, значит, в возрасте шестнадцати-семнадцати-восемнадцати лет... мне было шестнадцать лет, большинство было старше меня немножко), началось увлечение всякой всячиной: науками, искусствами, философией, литературой — чем угодно. Мы сперва организовали (еще это исходило из гимназии, об этом я уже упоминал), с помощью Александра Сергеевича Баркова, директора и географа нашего, географический кружок, но очень такого широкого профиля. Под географией понимали мы всякую всячину, всё, что касается, по современной терминологии, среды обитания человека. Вот. Но очень скоро это переросло в «Сикамбр»⁵, в кружок, в котором мы занимались всем. Примерно так масштаб был от естественно-исторических проблем, нас интересовавших, до религиозной философии, скажем, Бердяев, Булгаков, Владимир Соловьев и прочие... Григории Сковороды. А также действительно интересные философы-славянофилы. Среди них очень интересные люди были, даже помимо Хомякова и Самарина. Киреевские братья, Самарин, Хомяков, Щелгунов и потом до конца XIX века уже, так сказать, последыши славянофилов: Данилевский и другие. Так вот.

⁵ Название кружка произошло от любимого слова Сатина, персонажа популярной тогда мхатовской постановки пьесы Горького «На дне». Так называлось одно из варварских германских племен, в контексте пьесы оно означало «дикий», «непросвещенный». В устах же студийцев это название принимало характерный для тех лет эпатажный оттенок.



И мне кажется, что в нашем развитии интеллектуальном, как говорится, эти кружки, особенно «Сикамбр», сыграли большую роль. В конце концов, человек интеллектуально формируется, так сказать, на основе своих прирожденных качеств, способностей, вкусов и так далее. Но все это прирожденное должно чем-то питаться. И вот я считаю, что эти наши кружки плюс ряд очень интересных и хороших гимназических учителей создали прекрасную обстановку для нашего интеллектуального развития. В «Сикамбре»... что вспоминается мне совершенно случайно... Мы, например, были первыми, раньше Художественного театра ставили Лескова «Грабеж». Первое, что мы поставили из лесковских рассказов был «Грабеж». Я там одного из дьяконов играл. Вот. Затем... мы же ставили из Лескова «Запечатленного ангела». Мы начали с двумя моими товарищами и с помощью одного из старших наших товарищей, ныне тоже уже покойного, Витвера такого, Ивана Александровича, между прочим, географа и музыканта, начали писать оперу под названием «Мельхиседек». Мельхиседек, как вы, наверное, знаете, старец, вроде царя из Апокалипсиса, значит, на апокалиптическую тему. Писали мы троим, нам помогал Витвер, потому что мы почти ничего не понимали в оркестровке и в таких вещах. Опера осталась незавершенной, как говорится.

«Мешанина из университета и всяких гражданских войн»

Тут началась революция. Я попал сперва на германский фронт, потом на гражданскую войну, в 12-ю Красную Армию, на Деникинский фронт. Поступил в университет и, в общем, тут началась у меня мешанина из университета и всяких гражданских войн. Я то воевал, потом попадал в Москву, сразу... я тогда ихтиологией занимался, байкальскими бычками, рыбками такими из озера Байкал, и ципринидами, то есть карповыми рыбами бассейна Десны и Оки. Так что когда я попадал в Москву, сразу в Зоологическом музее садился за своих формалиновых и спиртовых рыбок.

А денежки зарабатывал преимущественно в качестве грузчика. Я на подъемную силу и всякую такую вещь был здоров очень, а грузчиком работать было тогда очень выгодно: карточки первой категории и дополнительные карточки плюс всяческий блат, так сказать, сверхинтеллигентский.

До того я одно лето проработал пастухом в Тверской губернии. Это тоже очень выгодно. И, кроме того, это приятнейшая должность.

” Из всех профессий, которых я за жизнь... в жизни своей перепробовал — это, пожалуй, самая приятная профессия. Бессловесные скоты, приятная компания, коровы в основном.

У меня, как полагается (я пас совхозное стадо в одном из первых совхозов Тверской губернии), бык был, конечно, и затем так около полуста коровок. Причем, бык был мощный, но какой-то нехолявый, дурашный, все плелся сзади стада. А я получил от своего предшественника по стаду, пастуха из военнопленных сербов, из австрийской армии, из австрийцев пленных, серб был такой Пурчил. Так Пурчил был замечательный пастух, он и дома у себя в Сербии пастушествовал. Он приучил коровок к нескольким сербским песенкам, которые насвистывал или напевал, я у него перенял эти сербские песенки и корову Варьку. Крупная была такая пегая корова, умная такая, солидная корова была. И вот мы, так же, как до меня Пурчил с ней в обнимку, я с ней в обнимку так впереди стада шествовал, а стадо за нами. И была у меня хорошая тоже за три года плена Пурчилом выдрессированная собака пастушеская, этакая, системы «надворный советник» — беспородная. И очень хорошо это время я провел. Потом к осени, к сожалению, меня там повысили с одним моим приятелем...

А я до того, на фронте немецком недолго пробыв, стал вахмистром. Это по-теперешнему, значит, старшина в кавалерии. Так как я в казацкой части служил, но в спешенной казацкой... в 17-м году и в 18-м, собственно, кавалерия-то на фронтах была вся спешена, и в окопы нас загнали. Так что мне шли-то кавалерийские унтер-офицерские чины, а служил я в пешем строю. Поэтому это привело (далее я вам буду рассказывать) к ряду таких анекдотов, которые со мной происходили уже в Красной Армии: по бумагам-то я вахмистр, а конного строя как следует не знаю.

” Я всегда потом уже хвастал, что в вахмистры был произведен примерно одновременно с неким товарищем Буденным. Он тоже был вахмистр, царского времени еще. Но он потом кое-какую карьерку сделал, в маршалы вышел, ну а я так бывшим вахмистром и остался.

Правда, потом стал помощником взводного командира уже, в 12-й Красной Армии. Но высоких чинов не испробовал.

Артель грузчиков. «Карьи глазки»

Так вот, значит, в Москве же, когда попадал в Москву, по протекции, оказанной Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, был такой старый большевик, приятель Ленина и первый управляющий делами Совнаркома, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. По специальности он был что-то в вашем роде, гуманитарий какой-то, филолог, или литературовед, или что-то такое. А занимался всю жизнь всякими раскольниками, староверами, сектантами и так далее. У него была колоссальная картотека всяких там поповцев и беспоповцев, и мариинцев, и хлыстов, и бегунов, черте кого. Из издательством «Жизнь и знание». Вообще, был большевик старый, но богатый, барственный такой, из помещиков, по-моему, бессарабских он был

родом. А ко мне имел весьма косвенное отношение. Дело в том, что одна из моих теток в Петербурге в 1905 году его от городских где-то под диваном прятала или что-то в этом роде. И он это запомнил, поэтому к нашему семейству относился, так сказать, хорошо. И когда нам всем стало плохо и жрать нечего, он нас старался немножко опекать. Устроил меня грузчиком в Центропечать, а это, как я вам уж говорил, было тогда выгодное очень занятие. Не такое выгодное, как пастушество, конечно. Когда я был пастухом, я за это лето заработал, наверное, раз в десять больше ординарного профессора Московского университета. Но тут тоже мы кормились.



Гимназисты у колокольни «Иван Великий» в Кремле. В первом ряду справа Н. Тимофеев-Ресовский. 1917

Значит, артельно работали, в артели грузчиков. Артельный у нас был такой Иван Иванович, пожилой такой рабочий, от Грачева из Охотного ряда. Мы получали какое-то жалование, которым никто не интересовался, из «Центропечати», потому что тогда лимоны были — миллионы, на них купить все равно ничего нельзя было. Но вот карточки получали хорошие, и Бонч нам устроил: каждый грузчик получал по три столовых карточки в 3-ю столовку Совнаркома в отеле «Метрополь». Ресторан знаменитый «Метрополь» был уже превращен в советскую столовку. Кормили там, чем положено: жиденькой пшой, жи-и-идкая такая на водичке пшенная каша. Чехов был в те годы переиначен, и говорилось, что ржа ест железо, тля ест траву, а пша душу. Вот. И затем карьими глазками. А карьи глазки — это у солдат краснопурых называлось вот что: в воде можно было разваривать воблиные головы. Сушеная вобла, теперь есть такой редкий продукт, за которым моментально все бабье почему-то в хвосты выстраивается. А раньше это была пища нищих, значит, и самое дешевое, что есть на свете, когда жрать человеку нечего, так он пару вобл, значит, сжирал с краюшкой хлеба. Их о камень побьешь, побьешь, побьешь, потом сожрешь. Вот головы отрезали у воблы и варили в воде. При этом они совершенно разваривались. Туда чуть-чуть бросали, что есть: какой-нибудь травки, капустных листьев иногда, ежели были, затем вот немножко пши.

” А главное, головы эти разваривались совершенно и вываливались из них глаза, черепа, черепушки, кости топи на дно, а глаза всплывали на поверхность. Поэтому и назывались: «Ах вы, карьи глазки!» Этот суп. Вот.

И мы имели по три талона, значит. Получишь три супа таких, осторожно лишнюю воду сольешь, и получается миска вот этих... так сказать, концентрат карьих глазок. И потом туда же еще, значит, эту «а пша душу», второе, так называемое, затем к обеду полагалась осьмушка хлеба из жмыхов: такая мокрая, черная такая клякса. Но три осьмушки — это уже четверка с половиной хлеба — фунта, не кило, а фунта. Да по дополнительным карточкам нам полагалось лишнее: по первой категории четверть фунта хлеба, да по дополнительным карточкам еще четверть фунта. Мы, значит, получали в общем этой черной массы-то три четверти фунта. Так что вот этим концентратом из карьих глазок и из «ест душу» — пши, да вот эта черная масса. Пропитаться можно было.

Кроме того, это организовывал Иван Иванович, наш артельный... Тогда редко поезда какие-нибудь ходили, и вот в Москву со всей России, из провинции приезжали всякие уездные и волостные комиссары, такие дяденьки в кожаных тужурках, на поясе пушка висит, за литературой и бумагой. Ну, мы, значит, должны были их погрузить. У нас была упаковочная в «Центропечати», и там рогожные тюки большие. Мы получали дополнительные карточки и считались на самой тяжелой

работе, потому что у нас эти тюки были пяти и семи пудовые.

”

А, действительно, особенно по ступенечкам на лесенку, даже небольшую, семь пудиков таскать на спинозе вроде скучновато, так можно сказать. Так вот, мы работали, однако, таскали с восьми до четырех, восьмичасовой рабочий день.

А после четырех я смывался в университет к рыбам своим, а вечером кружок у нас был, так что время было занято все.

Так вот, этот Иван Иванович, артельный наш, узнавал, когда приезжал за бумагой и книжками комиссар с машиной. А тогда в Москве, ну, буквально, не разуваясь, по пальцам пересчитать можно было несколько грузовиков, которые работали на автоконьяке — на смеси спирта с газолином. Как видите, это все еще не наука, что я вам рассказываю, а серьезные вещи. Грузовиков этих было несколько, и они обыкновенно давались какому-нибудь комиссару, ну, буквально на короткое время, прямо на уходящий какой-нибудь состав свои тюки привезти, перегрузить в вагоны. Вот Иван Иванович всегда узнавал, когда какой-нибудь комиссар прямо на отходящий состав грузился. И тогда нам отдавал приказ: «Ребята, не спешите». К четырем часам мы не успевали погрузить товарища провинциального, тогда вступал в действие демагог — это я был, je moi. И начинал демагогические словеса о том, что крови нашей попили вдосталь, значит, которые буржуи, вот вроде вас, дорогой товарищ в кожаной куртке, когда мы почти без порток. А теперь четыре часа пополудни и нашей работе конец, так что здоровы будьте, прощайтесь, завтра продолжим.

”

Ну, он тут сперва хватался за пушку и пускал не истмат и не диамат, а просто мат и, вообще, кипятился. Тут ему говорит артельный, что ты, голубок, не забывай, ты не у себя в Тьмутаракане, а в столичном городе Москве, и веди себя, а то мы у тебя и пушку отберем, и шапку отберем и еще накладем тебе. И все равно ничего не получишь.

Мы его так приводим, значит, в божеский вид. А Иван Иванович ему, так сказать, сторонкой в это же время начинает уметь, что оно, конечно, ежели посмотреть с точки зрения, то открываются, ежели можно так выразиться, возможности. И, конечно, оно того, но, с другой стороны, и не того... Конечно, времена революционные, но, однако, что есть революция по сравнению с человеческой жизнью. Одним словом, он совершенно уже затихал, мы тоже затихали. Тут шофер, обыкновенно, принимал участие то на нашей стороне, то на евойной, потому что не мог разобраться, к кому ему выгоднее подмазываться. Видит, что сила-то на нашей стороне, и мы вроде как столичные советские люди, а этот неизвестно еще, может, он какой-нибудь там разбойник из провинциальных, не разберешь тогда, махновец какой-нибудь или что еще. Одним словом, отдавал он нам всю наличность, которая при нем была, кожаный пояс, конечно: он на подметки был тогда очень в цене, ежели хорошая шапка — так шапку. Он предлагал сам пушку свою, мы не брали: это нам без надобности, это вы там бандиствуете где-то, а мы живем в столице нашей родины Москве, и нам леворверты без надобности, потому что у нас опасность только от прыгунчиков. А тогда в Москве прыгунчики были в белых простынях, прыгунчики вроде духов, в него из пушки стрелять не будешь⁶. Вот.

⁶ Речь идет об известных бандах, действовавших в Москве и Санкт-Петербурге в 1918—1920 гг., члены которой одевались в белые саваны и использовали специальные пружины на обуви, чтобы передвигаться прыжками.

А пока все эти разговоры и ругань шла, был у нас Ванька такой, малец лет шестнадцати-семнадцати, здоровый, вообще, парень, но глупый, грязный довольно, всегда он был какой-то раздрипанный, но специалист своего дела. Он у всех московских грузовиков знал, где дырочка, через которую можно выпустить автоконьяк. А у нас была артельная такая баночка, вроде бидончика металлического. Пока торг шел, он через дырочку из грузовика-то выпускал честно автоконьяк, оставляя немножко на дорогу к вокзалу. Мы честно работали.

”

Когда он выпустит автоконьяк, мигнет нам, тогда мы быстро, в четверть часа набросаем эти тюки семипудовые, подумаешь. И катись.

А мы шли в полуподвальный бывший извозчий трактир на Сретенке. Он оставался тогда в каком-то таком полувиде: неизвестно, то ли он был частный, то ли он был государственный. Он, конечно, государственный уже был, советский трактир, но, с другой стороны, хозяин бывший за стойкой стоял и вообще заправлял делом, пара половых там была. Мы, значит, приходили с автоконьячком. Мы себе оставляли по чарочке, надо было *(показывает, как пили, заткнув нос и перекосившись)* так вот пропустить автоконьячку. Гадость ужасная! А остальное шло трактирщику. И за это мы получали настоящие щи супочные с убойной, по миске такой, и по краюхе не совсем жмыхового хлеба. Черный тоже, и тяжелый, и не пропеченный, но все-таки похож на хлеб. И иногда даже, ежели была, мы обыкновенно устраивали ein Topfgericht какой-нибудь немножко. Пши этой самой туда же в щи вываливали и наедались как следует.

А потом я шел к рыбам, конечно. Вот так мы жили. А после рыб, значит, кружок. Наш кружок... Я только все время прерывался, потому что потом опять попадал на фронт. Я-то мог бы и избежать всего этого: фронтов и прочее, но у меня всю жизнь было чувство неловкости попадать в какие-то более или менее исключительные условия. Ежели все воюют, надо воевать. Ежели все голодают, то нужно голодать. Ну, голодать... все голодающие стараются чего-нибудь отхватить, конечно, и наесться. Ну, и я старался отхватить и наесться, но попадать в какие-то исключительные условия неприятно. Особенно вот такие вещи, как война. Ежели все люди воюют, сидеть в тылу неприятно, конечно. Поэтому я тоже воевал.

” А воевали мы тогда разутые, раздетые, голодные, холодные. Ужас! ужас! ужас! ужас! Но ничего. Сперва денкинец нас до самой Тулы прогнали, а потом мы их аж до Черного моря взд отогнали, так что война была веселой, подвижной тогда.

Мы, я помню, месяца полтора, наверное, против Дикой дивизии знаменитой воевали. Они у мужиков бессловесный скот брали, а мы птицу — оставалась нам только. Когда они откатывались, они скот весь сжирали, а как-то... за всем не угонишься, и кур, уток, гусей — это мы уже приканчивали, так что после обоюдной гражданской войны мужички-то оставались того... при пиковом интересе.

А потом попадешь опять в Москву... мы тогда немножко интересовались Есениным. Как-то я лично к вам признаваемым всяким таким людям, как Маяковский, уже в те времена относился довольно резко отрицательно. Считал это не поэзией, а временной революционной макулатурой: «Нигде кроме, в Моссельпроме», «Ото всего старого мира мы оставили только...» Что? «...папиросы “Ира”» (смеется). «Кто куда, а я в сберкассе».

” Ведь Маяковский же не поэт. Он однообразен, скучен, нахально громогласен. Нет. Он и человек нехороший, и поэт скверный.

М.Р.: А вы можете что-то сказать о нем как о человеке, вы с ним встречались?

Н.Т.-Р.: Нет. Я встречался с ним несколько раз и слушал его выступления. Но так ничего ответственно сказать о нем не могу, кроме того, что мне он и как человек не нравился, и как поэт не нравился, и не нравится сейчас.

М.Р.: Это ваше право. У каждого свое.

Н.Т.-Р.: Да, да.

М.Р.: Вы не могли бы сказать поподробнее, почему он вам не нравится хотя бы как человек. Как поэт — более или менее ясна ваша позиция. Вы с ним встречались в какой-нибудь личной обстановке или...

Н.Т.-Р.: Нет. Нет-нет-нет.

М.Р.: ...только на выступлениях?

Н.Т.-Р.: Слушал его. Потом у меня были всякие приятели, которые с ним приятельствовали. И все, что я об нем тогда знал, мне не нравилось. Я таких людей... Конечно, тот же Сергей Есенин был и пьяница, и хулиган, и как поэт... у него девяносто процентов белиберды, но десять процентов настоящей поэзии. Он серый человек, халтурщик, плохо владел поэтической техникой, поэтому я и говорю, у него девяносто процентов так называемого творчества белиберды, конечно, но десять процентов...

(Обращается к женщине, которая должна была готовить обед) Маруся, можно, наверное? (Магнитофон на минутку выключался.) Так вот. Но, конечно, я с Сергеем Есениным лично не был совершенно знаком, но тоже несколько его выступлений слышал. Мы ходили тогда и в Политехнический музей на всякую всячину. Когда Луначарский там спорил с этим живоцерковцем...

М.Р.: С Введенским?

Н.Т.-Р.: Введенским. Мы, те из нас, которые были православные, конечно, не одобряли ни того, ни другого. Так у нас называлось: хрен редьки не слаще. Введенский был талантливый, пожалуй, и забористее Луначарского. Луначарский был очень образованным человеком, не лишенным талантов, и симпатичный по человечеству. Из этих наркомов, конечно, я-то чаще всего встречался, хорошо знал Семашку. Это был очень хороший человек. Это был типичный такой русский земский врач, очень хороший человек.

” И как-то я очень доволен, что он и кончил жизнь свою как-то нормально, хорошо, вовремя смылся из Совнаркома и сделался просто профессором Московского университета.

Профессором социальной гигиены он, кажется, стал, получил кафедру, и на этой кафедре тихо, смирно просидел до своей естественной смерти. Луначарский тоже вовремя смылся, но он пораньше много умер. У него с сердцем большие неполадки были.

Что же еще? Не знаю, насколько я вам ясно описал стиль тогдашней нашей жизни. Значит, это смесь ученья, слушания университетских лекций, кружковщина, работа грузчиками, работа в Зоологическом музее. Периодически прерывалось все это военно-гражданскими эпизодами. И в общем, по-моему, жизнь была веселой. Очень хорошее время, мало-мало голодали, мало-мало холодали, все такое... Но люди мы были молодые, здоровые, крепкие. Что нам делалось? Так и жили.

Банда Гавриленко

Жили мы, сколь ни странно, в общем, довольно-таки вне политики. Вот я принадлежал к тем людям, которые сознательно

не попали, скажем, в эмиграцию, к белым, не по политическим причинам. Я отнюдь не был никаким ни коммунистом, ни «сицилистом», никаким другим стрекулистом, а просто я считал, что нужно быть в пределах границ своего Отечества — и все! И сражаться с тем, кто извне в границы моего Отечества приходит. Я был достаточно грамотным человеком, чтобы видеть, что белое движение — несерьезная вещь, что там дюжина самых разнообразных течений, все это сдобрено буржуазной спекуляцией. Мне пришлось побывать в Киеве времен гетманщины, когда я возвращался с Юго-Западного фронта, меня там забрали. Мобилизовали в синие жупаны. Я-то оттуда «втик на коню» и со своей обмундировочкой казацкой, значит, до Москвы. И все.

Там были со мной приключения. Месяца три у бандитов пришлось поработать. Меня бандиты — «анархисты, ученыки самого пана князя Кропоткина пымали», предшественники французовских банд, задолго еще до Махно, на Десне зимой. И я бы там, наверное, пропал, но когда меня... в банду пана Гавриленко такого, который говорил: «Я же ученик самого пана князя Кропоткина».

” Тогда я не выдержал и сказал: «А ты его видел когда-нибудь? — Та ни, но я же ученик его!» А я говорю: «А я внучатый племянник ему», что действительно истине соответствует, потому что Кропоткин был двоюродным братом моей бабушки Всеволожской, так что я ему двоюродный внучатый племянник.

И с бабушкой еще после революции, когда он вернулся в Москву, бывал у него несколько раз... Мы с ним тогда спорили о некоторых эволюционных проблемах... я неправильно его тогда понимал. Он умный был старик. По поводу его книжки «Взаимопомощь как фактор в борьбе за существование» — очень умная книжка. И потом много расспрашивал его... Он же крупный географ и создатель, собственно, основ современной теории ледникового периода. Он вообще очень интересный человек и замечательный барин. Я помню, тогда шибдзиком, студентиком с ним спорил, а он, так сказать, на равных правах со мной спорил и кормил нас с бабушкой подаренным ему Лениным малиновым вареньем к чаю. Ленин ему чай подарил и малиновое варенье. Они же с Лениным всегда, так сказать, теоретически спорили.

” Он не признавал новых вещей марксистских, но Ленин очень хорошо к нему относился всегда. И Кропоткин к Ленину тоже. Вот я у Кропоткина несколько раз поел ленинского малинового варенья.

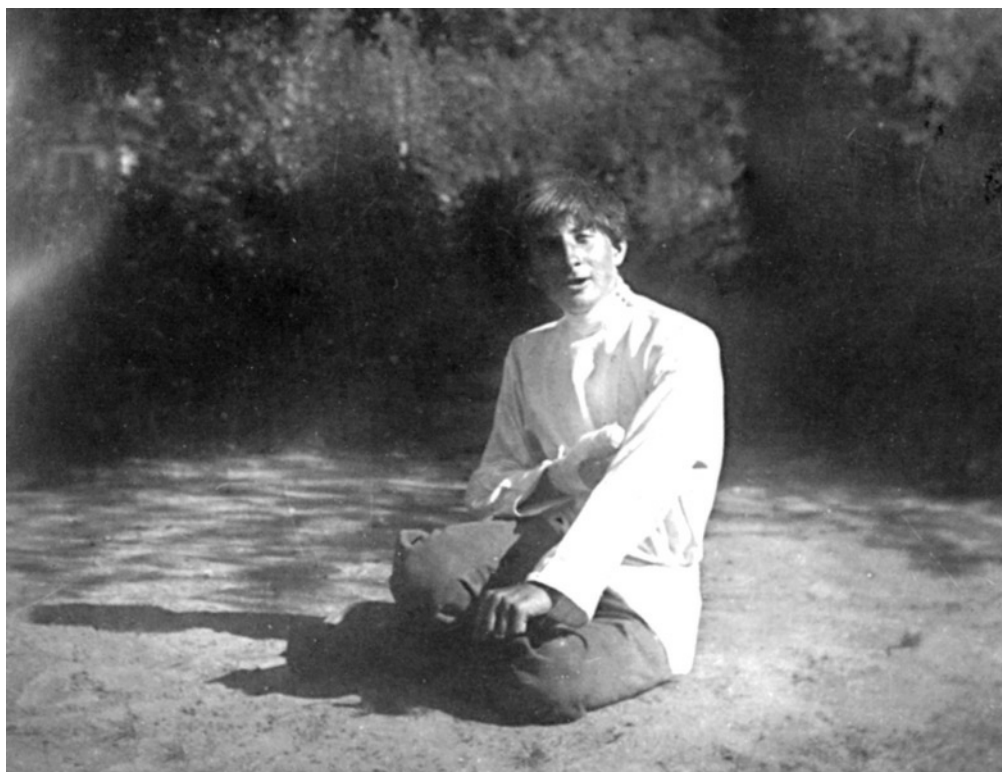
И тогда я этому самому пану Гавриленко малиновым вареньем и заткнул глотку (*смеется*), говорю: «Заткнись!» И тогда он невероятным уважением ко мне возгорелся. Но это работа была трудная. Нас было четырнадцать человек-сабель — все. Вот такие пойманные банды казацки. Мы должны были фуражировать и гнать немцев. Я почему остался у них? Потому что они занимались полезным делом — гнали немцев с Украины. Немцы уж тогда ужасно гнусно себя вели на Украине. Ну, и я с ними остался. Да, и встретил там, в банде, среди этих верховых четырнадцати кавалеристов, казаков, своего товарища еще по гимназии, Чекунова, казака тоже донского.

Но это очень тяжелая работа, сутками прямо не вылезали из седла, потому что нам нужно было нападать на крупные немецкие подразделения с обозом. Главное-то... черт с ними, немцев без обоза нам нечего было бить. Сами себя добьют. А вот обоз у них отбить! А с обозами у них и батальоны бывали, а нас четырнадцать-то сабелек. А батальон-то все-таки того... Вот. Но мы разработали хорошую такую... рассыпались уже в темноте казацкой лавой такой, нашпандоривали коней, орали «ура!» и стреляли. И немцы, обыкновенно, никак не могли разобрать, сколько нас. А нам главное... нам хохлы доносили, где они на ночевку устроились, где обоз расположен. Главное — обоз. Мы обоз сразу окружали, угоняли обоз... Но тяжело, тяжело работать было. Все мы были легко ранены, довольно часто попадали пульки... Но раз только мы влипли капитально. Вот, скажем, хутор большой, где немецкий батальон с обозом расположился. (*Рассказывая, Николай Владимирович показывает руками.*) Так Десна замерзающая, с берегами уже ледяными, тут, значит, шлях, а тут — опушка леса, из дикой груши колючки, никак через них не продрасться. Через Десну тоже невозможно, она полузамерзшая. Ну, мы, значит, напали на обоз.

Во-первых, нам хохлы не донесли, по глупости, что при них пулеметная рота. Это тогда нововведение было. А под пулеметами неприятно. Серые мужички, они больше артиллерии боятся: хлопают, взрывы, бахают и все такое. А наш брат полуинтеллигент, так сказать, опасался больше пулеметов, от воображения.

” Лежишь на земле под пулеметами и представляешь себе: чешет пулемет, и достаточно ему, сукину сыну, немножко нос опустить, и прямо по спине проедется. От воображения больше страх.

И вдруг нам в тыл эскадрон целый немецких улан, тоже конные. Значит, наше конное преимущество отпадает. Мы с Чекуновым впервые применили на практике теорию вероятности и математическую статистику. Нам карачун: впереди пулеметы, сзади примерно сто сабель. Всех нас перебьют, и дело на этом кончится. И потом удивятся эти дураки немцы, что нас только четырнадцать человек. А мы уже у них убили-то больше. Тогда мы решили, что единственная возможность: в темноте разогнать лошадей в карьер, и через эскадрон. Просто, значит, шашки наголо, «ура!» — ну, и кто-то пробьется. И действительно, получилось даже не fifty-fifty, а полегли семь человек, а пробились восемь... да, восемь человек, а семь полегло. Причем, сперва думали, что наоборот: лег я тоже.



Н. Тимофеев-Ресовский. 25 июня 1917

Со мной произошла такая... мне на войне всегда везло. По-видимому, значит, когда я врезался в этих самых улан, кто-то из них попал мне здорово шашкой по башке плашмя. Я с коня со своего скovyрнулся на мерзлую дорогу, на шлях, и без сознания пролежал там. По-видимому, меня сочли за убитого, никто мною не интересовался... как раз на опушке этих колючек. Я, поздно уже, ночь, скорее под утро, на небе звезды, очухался.

”

Попробовал встать, гляжу — цел! Страшно башка болит, громадные две шишки на башке, папаха у меня была, куда-то она делась, я ее тут рядом не нашел, и конь мой (конь казацкий был) стоит себе, обглаживает какие-то кустики, ждет. Я влез на него и к утру нашел свою банду.

Чекунов... на нем оказалось, по-моему, около двадцати легких ран, и пулевых, и сабельных — как котлетка. Но ничего, через две недели совсем выздоровел. Пан Гавриленко нас всех от ранения лечил коньяком, шутовским. Где-то он царапнул огромное количество коньяку — внутрь и снаружи: для антисептики снаружи раны трактывал (*усмехаясь*) коньяком и выстиранными портянками, и внутрь выдавал чарку. Вот так. Я же вскоре после этого-то и сказал ему, что «я тебе отработал, поиду соби до дому, аж к самому пану Кропоткину» (*усмехается*). Вот. Он мне все вручал всякие драгоценности, очень благодарил, все такое, какие-то, значит, золотые часы и портсигары. Но, как полагается, какой-нибудь портсигар, там надпись: «Дорогому...» или «Уважаемому... Савве...» какому-нибудь «...Ивановичу Морозову от благодарных рабочих» или что-нибудь в этом роде (*усмехается*). Я ему говорю: «Не надо мне. Ты мне шпику, сала дай». Затем (конь мой слишком хорош был) я говорю: «Какого-нибудь коня такого рабочего, мужицкого дай, из упряжных». Потому что я коня хотел на границе... тогда была граница между «вэлыкой вильной Украиной от Карпат аж до самого Кавказу» и РеСеФеСеРе. На границе я, действительно... Он мне дал целый мешок... у меня было два торбаса за седлом со всякой едой и салом, главным образом, и так далее. Я на границе все это выменял на мужицкую одежду, и коня променял, и карабинчик свой, и все, и часть сала, получил еще свежего хлеба крестьянского. И пешочком, а где с попутными подводами добрался, уж не помню, до Тулы, что ли или куда-то, оттуда в товарном вагоне прибыл в Москву. Вот.

(Перерыв на обед)

М.Р.: Пожалуйста.

Университет. Зоология

Н.Т.-Р.: Я уже говорил, что возвращаясь или на время попадая в Москву из разных приключений военных и штатских, я продолжал изучать зоологию. Я зоологом был, можно сказать, с детства, причем мокрым зоологом в основном, по-моему, настоящим зоологом, то есть имел определенные любви и нелюби в области зоологии. Значит, любил я мокрую зоологию:

гидробиологию, ихтиологию, водоплавающую дичь всякую, не любил сухую зоологию, не любил энтомологию. Но интересы-то были разнообразны. Я интересовался не только систематикой любимых мною групп, но и в особенности зоогеографией, затем промысловым значением видов млекопитающих, птиц и рыб. Вот такими вещами. И кроме пристрастия к одним группам животных и не пристрастия к другим, у меня было пристрастие и любовь к Палеарктике и мало интересовала фауна внепалеарктическая, в основном только в связи с какими-то палеарктическими проблемами: либо пограничные районы других областей, либо в связи с проблемами древних соотношений фаун различных областей и так далее. Но, действительно, любил я фауну Палеарктики.

В мое время, то есть, в сущности, в предреволюционное время в университете все структуры и всё преподавание было построено совершенно иначе, чем сейчас. Во-первых, не было этой бешеной специализации и многофакультетности, как сейчас. В сущности, было *(проговаривает как бы сам себе)* раз, два, три, четыре факультета. Два, в основном, прикладных: медицинский и юридический. Юридический в то же время был общеобразовательным, на него шли люди, которые ничем особенно не интересовались, но им нужен был диплом о высшем образовании для чисто служебных целей, для чиновничьей карьеры. И затем историко-филологический и физико-математический. Историко-филологический и физико-математический факультеты разделялись уже на несколько отделений, немного. На физико-математическом факультете было, значит, астрономо-математическое отделение, физическое отделение и естественное отделение, в которое входили все науки, от химии до антропологии включительно, и география.



Н.В. Тимофеев-Ресовский. 1918—1919

На естественном отделении уже происходила, начиная со второго курса, специализация на химиков, геологов и географов, ботаников, зоологов, антропологов. А первый курс, в сущности, был общий для всех. И это очень было хорошо. Во-первых, хорошо, потому что всем естественникам давало основы всех основных подразделений естествознания. На первом курсе проходило... слушали курс общей физики с малым практикумом, общей химии с малым практикумом, геологии с малым практикумом, общей зоологии, общей ботаники с соответствующими малыми практикумами и все, по-моему. И курс географии, кто желал. Это было не обязательно, не входило в обязательный минимум.

И лишь со второго курса начиналась специализация. Химики, в основном, занимались различными разделами химии, геологи занимались различными геологиями, палеонтологиями, географиями и так далее, и почвоведениями. Биологи разбивались на зоологов и ботаников. И это было очень удобно.

” У нас у всех, кто бы мы ни были в дальнейшем, зоологов, ботаников, химиков, геологов, было в качестве основы некоторое общее обозрение всех естественных наук, что, конечно, было очень полезно и хорошо — расширяло кругозор.

Сейчас при изначальной специализации вузов это, по-моему, очень отрицательно сказывается на всей вузовской жизни.

Первый курс естественного отделения физико-математического факультета, объединявший много, практически

все существовавшие разделы естествознания, за исключением физики, астрономии и математики, давал возможность поступившим в университет студентам всерьез избрать себе специальность. Потому что большинство поступающей в вузы молодежи, в сущности, всерьез не знают, чем она, эта молодежь, интересуется. Обычно студенты первокурсники плохо представляют, что собою представляют те науки, которые они избрали якобы своей специальностью. Вот первый курс естественного отделения давал без потери времени, наоборот, с большой пользой, а именно, получая общее обозрение всего научного естествознания, давал возможность сознательно избрать то, чем данный студент интересуется. Так что это было очень хорошо.

Университет Шанявского

Ну вот, дальше я стал заниматься в основном зоологией. Правда, наряду с московским, тогда, вернее, 1-м Московским государственным университетом, еще с 1910-го что ли года в Москве существовал очень интересный так называемый Народный университет имени Шанявского, к которому многие из нас, молодежи того времени, имели уже отношение, будучи еще гимназистами. Посещать и даже регулярно учиться в Университете Шанявского мог каждый без предъявления каких-то минимальных документов, скажем, аттестата зрелости. Это был, действительно, свободный университет, и он состоял, в сущности, из трех, что ли, учреждений, секторов.

Во-первых, из сектора, устраивавшего эпизодические публичные научно-популярные или даже научно-специальные лекции тех или иных интересных или крупных ученых самых различных специальностей: от искусствоведения до математики.

Второй сектор представлял из себя циклы научных лекций по определенным, самым различным предметам как гуманитарных, так и естественнонаучных дисциплин. Там Муратов, Градов, Тренёв читали очень интересные циклы лекций по истории живописи, архитектуры, скульптуры — изобразительных искусств. Василенко, композитор довольно крупный, ну, не из самых крупных, но довольно крупных композиторов конца XIX, начала XX века, читал очень интересный курс всеобщей истории музыки и музыкальных инструментов параллельно. Затем целый ряд литературоведов, филологов читали маленькие или более крупные курсы по своим специальностям. И целый ряд естественников. Например, знаменитый в свое время, да и до сих пор считающийся классиком, петербургский профессор Кравков, фармаколог, экспериментальный фармаколог, в основном, и химик, читал несколько раз интереснейший курс теоретических основ фармакологии. Ну, и целый ряд других крупных петербургских, киевских и московских профессоров читали там самые различные курсы от астрономии почти до гастрономии.

И, наконец, третий сектор, основной, это был университет, построенный по университетскому типу, с несколькими факультетами, в основном историко-филологическо-искусствоведческими, то есть с гуманитарным факультетом и естественным факультетом, или физико-математическим, где читались примерно в пределах университетских программ курсы в разных областях гуманитарных и естественно-исторических дисциплин.

Многие из этих курсов были очень интересны по очень странной причине, подтверждающей старую поговорку «нет худа без добра». Как известно, в 1911 году знаменитый нервозный, довольно реакционный и не особенно умный министр Кассо рядом своих нелепых распоряжений и попыток активного вмешательства в дела средней и высшей школы спровоцировал, так сказать, защитную реакцию профессоров и преподавателей Московского университета. В результате он уволил тогдашнего декана физико-математического факультета профессора Михаила Александровича Мензбира, зоолога знаменитого, и вызвал уход из Московского университета большой группы, более ста человек, лучших и крупнейших профессоров, доцентов и ассистентов университета.

Я сказал, что это подтверждение «нет худа без добра». Добром этой акции явилось, во-первых, совершенно небывалый в истории высших учебных заведений расцвет Московских высших женских курсов, потому что большая группа университетской профессуры и доцентуры ушла на Московские Высшие женские курсы, некоторые на московские высшие Голицынские сельскохозяйственные женские курсы, так называемые Голицынские курсы. Обогастилась и Петровско-Разумовская академия, ныне Тимирязевская академия, и расцвел Университет Шанявского. Многие крупные университетские ученые получали там совершенно новые, интереснейшие возможности развития и перестройки своих курсов и своих лабораторий. В частности, мой учитель, о котором я дальше буду, надеюсь, много говорить, Николай Константинович Кольцов, очень замечательный зоолог и экспериментальный биолог русский, в Университете Шанявского организовал первую в России, да, пожалуй, и в Европе, а, пожалуй, и во всем мире, специальную кафедру и лабораторию экспериментальной биологии. Вокруг нее собралась группа очень талантливой молодежи, с помощью которой он создал первую в России школу экспериментальной биологии, давшую впоследствии большое количество крупных ученых уже после революции, в свою очередь ставших крупными профессорами, создателями своих подшкол или школ.

Так вот, я это говорю к тому, что часть нас, тогдашней молодежи, так сказать студенческого возраста и состояния, использовали, по мере возможности, и этот Университет Шанявского, слушая там, когда это только удавалось по месту и времени, когда мы не находились где-нибудь на военной службе или у нас было свободное от работы и учения в университете время, слушали как эпизодические лекции в Университете Шанявского, так и так называемые циклы лекций.

” Студентами полноценными Университета Шанявского мы не были, потому что это нам и не нужно было: мы были студентами Московского государственного университета. Но Университет Шанявского использовали вовсю.

Лично я увлекался тоже с юных лет историей искусства в широком смысле слова: я слушал Василенко — историю музыки, и Грабаря, и Муратова, и Тренёва — историю изобразительных искусств. Слушал целый ряд эпизодических лекций, в частности, лекции по фармакологии и иммунологии ленинградского, петербургского тогда, профессора Кравкова, даже не подозревая, что через *(проборматывает вполголоса)* двадцать... пятьдесят... через тридцать примерно они очень

мне пригодятся в моей научной работе, посвященной совершенно другим, не фармакологическим и не иммунологическим проблемам, но экспериментально-биологическим проблемам. Общие точки зрения Кравкова, высказанные тогда, через тридцать лет теоретически мне пригодились.

Университетские учителя

Так вот. А по университету я считаю своими главными, основными учителями зоологов Михаила Александровича Мензбира... Я забыл упомянуть, что после революции большинство ушедших в 11-м году из университета московского ученых вернулись в той или иной форме в Московский университет, в том числе и Михаил Александрович Мензбир, и Кольцов, и многие другие. Так вот, из зоологов моими главными учителями являются Михаил Александрович Мензбир, Николай Константинович Кольцов и их уже ученики, более молодое поколение: Сергей Сергеевич Четвериков, Борис Степанович Матвеев, Сергей Николаевич Скадовский и еще несколько человек. Все они уже покойники.

Из ботаников наибольшую роль сыграли в моем биологическом образовании Голенкин и затем не бывший никогда моим непосредственным учителем Николай Иванович Вавилов. Затем геолог Алексей Петрович Павлов, замечательный палеонтолог Марья Васильевна Павлова, жена Алексея Петровича, и географ Анучин. Вот это были мои основные учителя.

К сожалению, я тогда не обратил должного внимания на физику и химию. Правда, в области физики, особенно для естественников, а не для специалистов, физиков и математиков, надо сказать, более-менее крупного учителя не было тогда в Московском университете. Химией я просто не занялся в те годы в достаточном размере. Я слушал очень увлекательные лекции по общей химии Александра Николаевича Реформатского, время от времени слушал Каблукова, физическую химию, работал соответствующие практикумы. В основном же занимался зоологией.

По зоологии были тогда поставлены в Московском университете два совершенно образцовых, замечательных, больших практикума. Это, во-первых, и в первую голову, двухгодичный большой зоологический практикум по беспозвоночным Кольцова и одногодичный, двухсеместровый, практикум по сравнительной анатомии позвоночных животных при кафедре Северцова. Вел этот большой практикум Борис Степанович Матвеев. Практикум кольцовский по зоологии, главным образом, вел Григорий Осипович Роскин, один из основных сотрудников Кольцова еще по университету Шанявского, его ученик и крупный цитолог и гистолог.

Особенно интересно был поставлен большой практикум Кольцова. Стержнем практикума было изучения всех классов, а не только типов, беспозвоночных, начиная с простейших, одноклеточных, и кончая, так сказать, переходом к позвоночным, оболочниками. Работа на практикуме была построена очень интересно и очень правильно.

” Практикум был круглосуточный. Ключ от лаборатории хранился в условленном месте, и к нему в любое время имел доступ староста группы или его заместитель. Я сам был в течение года старостой большого практикума, поэтому эти дела знаю хорошо.

И, действительно, несмотря на то, что в Москве было холодно, голодно, единственным транспортом были только собственные ноги, мы все, «большие практиканты» Кольцова работали очень много, потому что ежели мы днем должны были работать или заниматься какими-либо другими делами, то мы работали ночью. Теперешних рассуждений о том, что «ах, мальчики и девочки могут устать, переутомиться», или что-то вредно, а что-то полезно, у нас, конечно, не было. Мы были молодые нормальные люди. Я, еще будучи гимназистом последних классов, буквально натренировался мало спать. После чего всю жизнь довольствовался максимум пятью часами сна в сутки. Этого для меня было совершенно довольно. Все эти рассуждения «человек должен спать восемь часов»... Передремывать можно и двенадцать часов в день. А я выучился крепко спать. Никогда я никаких снотворных средств не употреблял, но выучился этому делу. Очень просто. Когда мне в старших классах гимназии, действительно, стало не хватать времени на всякие мои интересы, и зоологические, и искусствоведческие, и кружки, и всякую такую муру. Да и чтение книг интересных. Ведь в мире куча интересных книг! Я до сих пор завидую людям, которые еще либо по небрежности, либо по глупости, либо по необразованности не прочли массу интересных книг, которые я прочитал. Я им завидую! Им же предстоит огромное наслаждение. Вот сейчас у нас почти никто не знает Гамсуна. А это изумительный писатель норвежский, Кнут Гамсун.

Так вот, я натренировался мало спать очень простым способом: я вообще всегда поздно ложился, ложился в три часа ночи, до того занимаясь всякими делами. Под конец читал искусствоведческую литературу ночью. Последние двадцать минут перед тем, как лечь, я несколько раз обегал вокруг нашего квартала, где я жил, на Арбате, в Никольском переулке, и ложился спать. И засыпал, конечно, сразу. Ставил себе будильник на семь часов, то есть через четыре часа будильник меня будил. И полтора-два месяца я ходил, значит, скучный, сонный, и мне хотелось спать. А потом помаленьку привык.

” И спал крепко зато, никогда не видел снов, ничего, никаких дуростей, спал себе, как цуцик. И потом стал ставить себе будильник на полвосьмого. Четыре с половиной часа. Когда можно было, пять часов спал, но не больше.

Больше пяти часов мне в жизни и не нужно было. Я всю жизнь... я рассчитал так: ну что ж, станешь помирать, вроде обидно станет, что больше трети жизни проспал. Зачем? Спать и в гробу можно сколько угодно. Лучше побольше пожить-то. Ну вот, поэтому я приучился мало спать. И многие из нас спали мало. Только я-то через два месяца перестал от этого страдать, еще до всякого университета. Уже в университете был приучен к этому делу, приучил себя. А другие немножко, значит, сонные были, были даже такие чудачки, у которых голова, якобы, болела. Я-то в те времена во все эти глупости не верил,

чтобы могла у человека так просто голова болеть. Потом у меня голова очень здорово болела, но это после тяжелой контузии, там, на гражданской войне. У меня года два ужас какие головные боли были, но это я не считал, что просто голова болит, а это последствие контузии были, которые постепенно проходили. Вот.

Так на практикуме дело было так поставлено. Григорий Осипович Роскин каждую неделю в четверг нас проверял. Человек нас было двадцать, не больше, так от пятнадцати до двадцати варьировались в те годы людей на большом практикуме, в основном, мужского пола, тогда только начали появляться девчонки в университете... И задавал материал на следующую неделю или две недели иногда. И очень следил за тем, чтобы мы не запускали материал. То, что нужно было сделать, чтобы более-менее вовремя было нами сделано. А мы должны были готовить все препараты сами. У нас была прекрасная демонстрационная коллекция и микроскопических препаратов по всем группам, и беспозвоночных у Николая Константиновича Кольцова. Он массу сам работал и в Неаполе, и в Виллафранке, и на самых разнообразных других морских и пресноводных биологических станциях. У него был огромный материал препаратов. Но мы всё, что было возможно, по чему имелся сырой материал, должны были сами делать.

Кроме того, мы сами целый ряд экспериментов должны были проводить.

”

Должны были, например, разводить несколько видов инфузорий, должны были разводить в культурах у себя амёб и кое-каких других корненожек, должны были жгутиковых разводить в культурах у себя, должны были наблюдать, зафиксировать и окрасить все стадии деления у этих простейших, а у инфузорий все основные стадии конъюгации.

Это очень важная вещь, то, чему сейчас, к сожалению, недостаточно учат, благодаря чему многие молодые биологи оказываются на первое время довольно ограниченными в своих привычках и навыках в обращении с живым материалом биологическим.

Дальше мы должны были по всем основным типам и классам животных опять-таки готовить сами препараты, так что у каждого из нас скапливалась большая собственная коллекция препаратов по всем группам беспозвоночных. Много мы делали и для лаборатории. Лишние препараты сдавали в лабораторию, так что материал по препаратам разных групп животных в лаборатории постепенно рос и приумножался, что было существенно, потому что росло и число студентов на большом практикуме. Так практикум продолжался два года, четыре семестра.

Но самое интересное и важное было окружение этого практикума. При практикуме большом читалось несколько специальных курсов, часть из которых сопровождалась специальными практикумами. Например, Дмитрий Петрович Филатов, замечательный наш экспериментальный эмбриолог, читал курс экспериментальной эмбриологии с практикумом, в котором мы, по возможности, проделывали самые простые эксперименты из области экспериментальной эмбриологии на дробящихся яйцах и зародышах лягушек, аксолотлей, тритонов.

Сергей Николаевич Скадовский читал нам курс гидрофизиологии с практикумом, в котором мы проходили основные формы планктона, бентоса пресноводного, обучались измерять pH воды, некоторые компоненты солевого состава воды.

Затем Софья Леонидовна Фролова, замечательный цитолог из первой гвардии цитологов и кариологов нашего отечества, и Петр Иванович Живаго читали нам курсы цитологии и кариологии с соответствующими практикумами, где мы учились красить хромосомы, считать хромосомы у удобных объектах. Вот. Наверное, я что-нибудь забыл, но и перечисленного мною совершенно достаточно.

Да! Сергей Сергеевич Четвериков читал в связи с большим практикумом интереснейший курс, который назывался: «Курс экспериментальной эволюции» или «экспериментальной систематики». Это, в сущности, была комбинация курсов биометрии и генетики, с основами теоретической систематики. Это был очень интересный курс, который повлиял на дальнейшую работу и научную жизнь некоторых из нас в очень значительной степени.

При практикуме по сравнительной анатомии позвоночных Борис Степанович Матвеев читал очень интересный курс с демонстрационным практикумом по органогенезу, собственно, по специальной эмбриологии, по развитию отдельных систем органов у позвоночных.

Владимир Викторович Васнецов читал интересный курс основ сравнительной анатомии и систематики рыб. И ряд преподавателей вели в связи с обоими практикумами — и матвеевским, и кольцовско-роскинским практикумами — курс по определению позвоночных животных, пользованию определителями по различным группам позвоночных животных.

Как видите, зоологии нас учили основательно.

”

До того основательно, что в дальнейшей жизни ни в преподавании, ни в научной работе своей, ни в чем не имея никакого дела со сравнительной анатомией позвоночных и, в частности, с центральной нервной системой оных, я до сих пор могу наизусть перечислить все черепные нервы позвоночных, в артериальных и венозных системах могу перечислить основные вены и артерии, и группу, у которых они впервые появились, или группу, у которых они исчезли в процессе эволюции, чего кончающие сейчас биофак зоологи, обыкновенно, совершенно не знают.

Не то что забыли, а просто никогда и не знали. А нас этому учили и выучили так хорошо, что мы на всю жизнь это помним.

Да! Из курсов зоологических, конечно, так сказать, совершенно своеобразным явлением природы были курсы Николая Константиновича Кольцова. Он читал в мое время два курса: курс общей зоологии, который мы все, кто могли, если как-нибудь могли, то ежели не целиком, то хоть частями повторно слушали сколько угодно лет, потому что этот курс видоизменялся, дополнялся в связи с развитием наук о жизни каждый год, и Николай Константинович читал эти курсы совершенно замечательно. Он был редким явлением в науке. Обыкновенно очень крупные ученые бывают неважными профессорами, так сказать, ораторами не бог весть какими, да и с точки зрения построения их курсы часто бывают сумбурны. И наоборот, кафедральные златоусты обыкновенно бывают научными пустышками, ничем не интересными исследователями. Вот одно из редких исключений — это Кольцов. Из немецких биологов — Макс Хартман и Альфред Кюн, из англичан — Джулиан Хаксли. Вот эти люди все были крупнейшими учеными и блестящими профессорами, блестящими лекторами и, в то же время, умными преподавателями, прекрасно и рационально строившими свои курсы, поэтому слушать их было не только архиполезно, но и в высшей степени приятно и утешительно. Вот таким профессором был Кольцов.

Второй его курс был курсом зоологии беспозвоночных, с очень кратким добавлением обзора позвоночных. Это, собственно, систематический курс зоологии. Он был столь же блестяще построен, всегда, так сказать, поддерживался up to date, со всеми добавлениями нужными, связанными с развитием наук. И оба курса Кольцова сопровождалась совершенно сознательно Кольцовым не всем известными, наскучившими, часто изодранными, измазанными таблицами и плакатами, на которых изображены чьи-нибудь кишки или еще что-нибудь, кровеносные системы вскрытой лягушки, а рисунками! Собственными рисунками на доске цветными мелками! И это были (иначе и не назовешь) художественные произведения. Кольцов, читая лекции, во время изложения вопроса этот вопрос иллюстрировал своими цветными схемами. Так как он был прекрасным художником и графиком, то это было технически очень хорошо, ясно, много яснее, нагляднее любых изданных таблиц, но кроме того, огромное значение имела синхронность самой лекции. Он о чем-то говорил и это же схематически, в это же время вычерчивал на доске.

” Вы следили за его изложением и за его же параллельным изображением. Это был прием, которым, конечно, мог пользоваться только такой всесторонне одаренный человек, как Николай Константинович Кольцов.

Вот. Это то, что касается зоологии.

Из ботаников мне ближе всех был Голенкин. Он считался скучным профессором, читал лекции не блестяще, далеко было ему не только до Кольцова, но и до своих коллег ботаников. Но он был прекрасный ботаник, прекрасный морфолог и систематик высших растений, и прекрасный, умный эволюционист классического времени и классического направления. Его ботанические лекции были поэтому для тех, кто интересовался сутью дела, почти всегда интересны.

В ботанике в Московском университете был тогда... общую ботанику на первом курсе читал... Лев Мельхиседекович Кречетович. Как исследователь он был никто. Он за свою долгую жизнь (умер он сравнительно недавно, где-то в 50-е годы, старым человеком) издал сборник, включающий, кажется, все его работы, их было тринадцать штук, по-моему. Немного. Но он был златоуст. И мы потом смеялись, что два златоуста для первокурсников: химик Александр Николаевич Реформатский, который тоже завлекательные лекции читал, и вот Лев Мельхиседекович Кречетович, который столь же завлекательные лекции по общей ботанике читал, так сказать, распределили на две группы хлынувших в университет бабелей, девиц.

” Значит, половина увлеклась Реформатским и пошла в химики, другая половина увлеклась Кречетовичем и пошла в ботанику, что довольно сильно впоследствии повредило этим двум научным дисциплинам.

В известной мере, это, действительно, было так. Надо сказать, что увлекательность лекций Кольцова, она стояла на другом уже уровне, более высоком, а не для только что появившихся в аудиториях девиц.

М.Р.: Вы устали?

Н.Т.-Р.: Нет. Еще нужно закончить вот с чем. Совершенно замечательны были лекции старейшины русской зоологии тех времен, Михаила Александровича Мензбира. И я счастлив, что прослушал, в особенности, его курс зоогеографии. Он был лектором-классиком, по классическим проблемам зоологии. Его курс зоогеографии, исторической зоогеографии, когда мы его слушали, у нас было впечатление, что мы сидим в аудитории дарвиновских времен, и читает Дарвин, или Хаксли, или кто-нибудь из тогдашних классиков больших. Это был, действительно, не столь блестящий, как Кольцов, но столь же вдумчивый, умелый и умный лектор, как Николай Константинович Кольцов. Его курсы всегда были блестяще построены.

Читал он классически, немножко суховато, за исключением тех лекций, которые он сам особенно любил и которые любили все русские зоологи. Его курсы зоогеографии... было, сколько помнится, две или три лекции о миграциях различных животных и, в особенности, о миграциях птиц. На эти лекции, уже после революции, когда появилось железнодорожное движение в Советской России, тогда в РеСеФеСеРе, стали ходить поезда, и не только с товарными вагонами, а и с пассажирскими, и стали ходить очень точно по расписанию, точнее, чем сейчас в целом ряде случаев, съезжались на эти лекции по миграциям животных вообще и птиц в частности, на эти две лекции, на одну неделю, в Москву слушать Мензбира все его старые ученики. Профессора из Казани, Киева, Харькова, Одессы-мамы, из Петрограда, тогда уже не Петербурга, а Петрограда, из новенького Пермского университета, иногда даже из Иркутского и Томского. Из Саратовского университета.



Одним словом, все, кто мог, со всей России съезжались слушать Мензбира. А читал он в старенькой аудитории Высших женских курсов в Мерзляках. В эту аудиторию тогда со всего здания притаскивали стульев, сколько возможно, рассаживались и на подоконниках, и на ступеньках аудитории.

Все было полно. Так читал Мензбир.

Очень интересны были лекции по общему курсу геологии Алексея Петровича Павлова. Тоже я считаю большой бедой и глупостью, что уже давно кончают десятки тысяч нашей молодежи биофаки различные, не имея даже отдаленного представления о геологии, этим самым значительная часть эволюционной биологии теряет конкретный смысл. И палеонтологию, конечно, сейчас тоже биологи не изучают. Алексей Петрович Павлов каждый год группу студентов с общего практикума уводил на экскурсии в Подмосковье: не геологам показывал, как выглядит геология в поле. Это тоже очень важно.

Наконец, не могу не вспомнить Марию Васильевну Павлову. Это, действительно, палеонтолог-классик, супруга Алексея Петровича Павлова. Знаменитые ее работы по эволюционной истории лошадей и еще несколько таких классических филогенетических исследований на позвоночных, в основном. Мария Васильевна была замечательный человек, добрейшей души, очень хороший человек, неглупый человек. В мое время она уже была глуха почти, как тетерев. Слышала, но плоховато. Очень с увлечением читала нам палеонтологию и эти камешки все, окаменелости, показывала, и мы очень ее уважали и всякая такая штука.

А экзамены она принимала группами. Всю группу... рассаживались мы в маленькой аудитории какой-нибудь, и вот она принимала экзамен. Экзамен у нее протекал следующим образом. Во-первых, группа, по тем голодным временам роскошно складывалась. Кроме того, всегда в группе находился какой-нибудь стрекулист, у которого был блат где-нибудь ободрать в Ботаническом саду какие-нибудь оранжереи. Одним словом, мы всегда готовили Марии Васильевне роскошный букет. Заворачивали в белую полупапиросную бумагу, которую тоже где-то кто-то доставал, и этот букет перед экзаменом на подоконнике ставился и прикрывался газетой, но так, чтобы Мария Васильевна видела, что там все-таки букет ей приготовлен. Во! И она уже немножко, так сказать, пускала слезу и вообще в растроганном виде начинала экзамен.

Сам экзамен протекал следующим образом. Так как она была глуха, как тетерев, то, значит, брались несколько книг палеонтологических. Она кого-нибудь вызывает, задает вопрос, обыкновенно неглупый и очень общий вопрос. Тогда дежурный по книгам, значит, быстро по книгам, находит ответ нужный и довольно громко его, но однообразным таким, скучным голосом говорит. А спрашиваемый, около нее стоящий, кричит ей в ухо то же самое. Благодаря этому методу все сдавали блестяще, на сплошные пятерки. Мария Васильевна была страшно довольна и уже совсем растрогана.

Когда я слушал, работал у нее, а потом сдавал, я в группе был и там, так сказать, вроде старосты.



Потому что я немножко умел дамам ручку поцеловать, всякая такая штука, поэтому моя обязанность была развернуть этот букет, поднести Марии Васильевне и поцеловать ей ручку по всем правилам искусства. Тогда Мария Васильевна совсем уж вся была мокрая в слезах и в мокром виде меня облапывала и целовала тоже.

Вот как это происходило.

Видите, у нас всякие были учителя и всякие способы учиться. Очень, я лично, любил и тоже такого древнего классика Анучина. Он в возрасте лет восьмидесяти умер, кажется, в 23-м году, антрополога и географа. Тоже все это было классично, интересно, почему-то все это засекречивается от современной естественно-исторической молодежи.

В общем, мы получали, действительно, помимо прекрасного специального образования... Ведь на последних курсах мы занимались специальными разделами биологии, кто чем интересовался: ихтиологией, гидробиологией, генетикой, цитологией, биометрией, систематикой тех или иных групп. Но наряду с этим мы получали, действительно, высококвалифицированное обозрение, собственно, всего естествознания. Поэтому для нас какая-нибудь ботаника, зоология, энтомология, ихтиология или геология не были чем-то таким специальным, а по бокам шоры какие-то. Поэтому и геологи были образованы биологически. Даже химики, ведь они тоже на первом курсе и общую зоологию, и общую ботанику слушали, так же как мы общую физику, общую химию и общую геологию. У нас у всех была единая естественно-историческая подоплека.

Ну, тут еще прибавлялись различные наши специальные интересы, и занятия. Вот небольшая группа, остатки моих старых кружков уже в университетское время, мы слушали логику Густава Густавовича Шпета, слушали математическую логику и алгебру понятий у Лузина. Мы их привлекли в наш кружок. Они нас заставляли... Я помню, Шпет нас заставил «Феноменологической логикой» заняться. Это, представляете себе, три тома Гуссерля «*Fenomenologische Logik*», по-немецки, с «цу на конце», все как следует, прогрызть такой гранит науки, для того чтобы убедиться, что нам все это без надобности. Мы очень скоро убедились. Но мы, правда, были в то время уже философски в достаточной мере подкованы, поэтому знали, что все то, что обычно называется университетской философией, нам совершенно без надобности. Потому что те из нас, кто всерьез этим интересовался, прекрасно уже легавостью, верхнем чутьем чуяли, что гносеология в ближайшее время заменится общими положениями теоретической физики и новой физической картиной мира, а также комбинацией из математической логики и алгебры понятий, а прочая философия... вообще, университетские философии без надобности. Это чисто паразитарные дисциплины, кормятся какие-то профессора на покойных действительно крупных людях и их извращают, классифицируют по глупым классификационным системам, находят всякую идеализму, материализму и еще

всякую «изму». Все это собачья чушь!



Философы и философия — это, действительно, редкие явления в мире человеческом, когда появляются крупные люди, которым есть что сказать прочим людям о своем видении внешнего мира и человеческой природы.

А не всякая чушь, не «маты». Вот. «Мат» есть русский язык, а не философия. А философами, по сути дела являются святые, конечно, в основном. Люди, которые знают, как надо жить и которые показывают людям, как можно жить, для того чтобы не по-собачьи умереть. Вот. А все прочее — это без надобности, это паразитирование на нас, ученых, с одной стороны, и, с другой стороны, друг на друге: всякие там идеалисты, механисты, материалисты и прочие стрекулисты, значит, друг над другом измываются. И это совершенно неинтересно.

Вот мое поколение, моя группа в этом просто лично убедились. Мы действительно честно прочли всего основного Канта, немцев начала XIX века, включая этого самого паразита Гегеля, который совершенно все закрутил. И кто кого на попа поставил: он Маркса или Маркс его — черт их там разберет! (*усмехается*). Оба на попа поставлены. Ерундология совершенная. Все это без надобности. Конечно, из немецких философов все-таки самый крупный, конечно, Кант. У него очень много интересного. Но многословия очень много. И англичанин Юм сказал, написал почти все, что сделал Кант, но только очень коротко, и не написал того, чего не нужно было писать. Вот. Ну, на этом на сегодня можно кончить, пожалуй.

М.Р.: Спасибо большое. Да, уже много времени.